Разборы книгъ

   **Бело**. Дѣвица Жиро, моя супруга (1870). **Флоберъ**. Сантиментальное воспитаніе (1870). **Викторъ Гюго**. Человѣкъ, который смѣется (1869). **Ауэрбахъ**. Дача на Рейнѣ (1870). **Шиллеръ** въ переводахъ русскихъ писателей. Т. VIII (1870)

   I. Западная словесность въ отношеніи къ русской

   II. Свобода отъ авторитетовъ

   III. Романъ Адольфа Бело

   IV. Флоберъ. Викторъ Гюго

   V. Шиллеръ. Ауэрбахъ

   VI. Александръ Гумбольдтъ

   VII. Англійскіе романы

   **Дѣвица Жиро, моя супруга**. Романъ, соч. А. Белло. Съ французскаго. Изд. С. И. Львова. Спб 1870.

   **Иностранные беллетристы**. Густавъ Флоберъ. Сантиментальное воспитаніе. Изданіе А. Энгельгардтъ и А. Степановой. Спб. 1870.

   **Человѣкъ, который смѣется**. Романъ Виктора Гюго. Переводъ съ французскаго подъ редакціей Марка-Вовчка. Спб. 1869.

   **Дача на Рейнѣ**. Романъ въ пяти частяхъ. Б. Ауэрбаха. Переводъ съ нѣмецкаго. Съ предисловіемъ И. С. Тургенева. Три тома. Спб. 1870.

   **Собраніе сочиненій Шиллера** въ переводахъ Русскихъ писателей. Изд. подъ ред. Н. В. Гербеля. Т. VIII. Спб. 1870.

I.

**Западная словесность въ отношеніи къ русской.**

   Благодареніе небесамъ! Вліяніе иностранной словесности у насъ значительно уменьшилось и продолжаетъ уменьшаться съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ. Этотъ могучій, подавляющій авторитетъ теряетъ свою силу; становится легче дышатъ, мыслить и чувствовать. Во первыхъ, оказывается все больше и больше возможнымъ

                       смѣть

   Свое сужденіе имѣть.

   Во вторыхъ все больше и больше отпадаетъ забота, нѣкогда поглощавшая почти всѣ наши умственныя силы, мѣшавшая намъ думать и работать, -- забота слѣдить за тѣмъ, что пишется и думается въ Европѣ. Все меньше и меньше оказывается надобности въ томъ пристальномъ, неустанномъ вниманіи, съ которымъ мы нѣкогда слѣдили за умственной дѣятельностію Запада {Писано въ 1870 году; прошу прощенія у читателей за преувеличенныя надежды.}.

   Живо помнимъ мы еще послѣднее десятилѣтіе прошлаго царствованія, помнимъ тотъ складъ, тѣ пріемы и формы, которыя имѣла тогда наша умственная жизнь здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ всего быстрѣе отражаются всякія явленія нашего развитія. Тогда всѣ, кто имѣлъ притязаніе на образованность, сидѣли за иностранными книжками. Не только студенты, литераторы, ученые или готовящіеся къ ученой карьерѣ, но и чиновники, помѣщики, всякаго рода люди, жаждавшіе просвѣщенія и считавшія себя способными съ нему, старались почерпать свои понятія и взгляды изъ иностранныхъ книжекъ. Если у кого было свое собраніе книгъ, небольшая библіотека, то навѣрное она вся состояла изъ французовъ и нѣмцевъ, а русская книга была въ ней исключеніемъ, рѣдкостію. главная книжная торговля была иностранная. Толкучій рынокъ -- мѣсто, на которомъ всего яснѣе отражается, какія книги въ наибольшемъ употребленіи, какое наслѣдство осталось послѣ умирающихъ, отъѣзжающихъ, раззоряющихся, -- толкучій рынокъ былъ заваленъ иностранными книгами; лавочки, торговавшія однѣми русскими книгами, были исключеніемъ. Но самая существенная книжная торговля, та, которою питался сокъ образованныхъ людей, будущая надежда литературы и передового движенія, была тайная торговля, происходившая помощію такъ называемыхъ *букинистовъ.*Съ мѣшками книгъ букинисты ходили по домамъ и доставляли за очень умѣренныя цѣны всѣ запрещенныя сочиненія: Луи Блана, Леру, Жоржъ-Занда, Фейербаха и пр. и пр. Такимъ образомъ, самыя крайнія ученія Запада составляли главный предметъ тогдашней умственной жадности. Новая книжка, представлявшая новый шагъ тогдашняго европейскаго прогресса, тотчасъ была прочитываема избраннѣйшими, наиболѣе передовыми людьми. Подъ покровомъ тайны эти ученія имѣли особую привлекательность, особый жгучій вкусъ, и были быстро усвояемы. Въ 1844 году матеріализмъ, соціализмъ, нигилизмъ -- были уже въ полномъ ходу, составляли для человѣка, пріѣхавшаго изъ провинціи, самую поразительную и яркую черту умственной жизни Петербурга.

   Съ тѣхъ поръ, и разумѣется съ 1855 года, какъ все перемѣнилось! Теперь наши образованные, передовые люди, дли развитія своего ума и "просвѣтленія своихъ понятій, читаютъ преимущественно русскія книги", именно -- или оригинальныя произведенія, напр. Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, "Что дѣлать?" "Рефлексы головнаго мозга" и пр., или книги, переведенныя на русскій языкъ, напр. Бокля, Дарвина, Милля, Льюиса, Спенсера, Карла Фохта, и пр. и пр. Эти и подобныя книги составляютъ важнѣйшую часть небольшихъ библіотекъ нынѣшнихъ просвѣщенныхъ юношей и женщинъ. Торговля русскими книгами точно также усилилась необыкновенно. Толкучій, это благословенное мѣсто, куда бѣдняки отправлялись за пищею для ума, и гдѣ можно было найти всяческую литературу французскую и нѣмецкую, -- толкучій уже не торгуетъ иностранными книгами. Главный товаръ всѣхъ лавочекъ, -- русскія изданія, и лавочки исключительно иностранныхъ книгъ сдѣлались рѣдкостію. Букинисты уже не ходятъ по домамъ, -- не потому, чтобы это было запрещено, а потому, что имъ нечѣмъ торговать. Ихъ прежній товаръ потерялъ всякую привлекательность, отчасти потому, что правительство перестало преслѣдовать иностранныя книги крайнихъ направленій, и ихъ легко добыть съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ формальностей, но, главное, потому, что ходъ прежняго товара букинистовъ убитъ конкурренціею русскаго товара, что русскія изданія, продаваемыя открыто, поравнялись своимъ интересомъ съ иностранными и даже превзошли ихъ.

   Да, русская литература растетъ и зрѣетъ, и по мѣрѣ того, какъ увеличивается ея объемъ и вліяніе, необходимо долженъ понижаться авторитетъ иностранной литературы. Въ сущности, пожалуй, радоваться особенно нечему; въ сущности, у насъ одно безобразіе замѣнилось другимъ, и мы, какъ говорится, поправились изъ кулька въ рогожку. Настроеніе умовъ, по прежнему, болѣзненно, уродливо; по прежнему можно сказать:

   Какъ во всемъ этомъ видна *Зыбь поверхности*одна! {Два стиха, которые случайно вырвались у А. H. Майкова въ разговорѣ.}

   Но все-таки, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ радоваться, что направленіе этой зыби измѣнилось. Освобожденіе отъ авторитета Запада есть столь великое дѣло, что ему нельзя не сочувствовать, когда оно совершается правильно, естественно, въ силу неизбѣжнаго теченія вещей. Когда одна глупость замѣняется другою, мы, конечно, не имѣемъ права радоваться новой глупости, какъ какому нибудь положительному пріобрѣтенію; но самое движеніе умовъ мы можемъ считать за. отрадный признакъ, ибо и глупости имѣютъ свой логическій ходъ, который рано или поздно приведетъ ихъ къ разоблаченію, къ обличенію ихъ внутренней несостоятельности. Такъ авторитетъ Запада, неправильный, фантастически-искаженный и чудовищно-преувеличенный, падаетъ у насъ не вслѣдствіе одного развитія *истинной, настоящей*русской литературы, но и вслѣдствіе развитія фальшивыхъ, уродливыхъ литературныхъ явленій, масса которыхъ безмѣрно превосходитъ явленія правильныя и здоровыя. Авторитетъ Запада съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ подкапывается самими западниками. Чѣмъ больше переводится иностранныхъ книгъ, чѣмъ больше является всякихъ статей и разсужденій, наполненныхъ западными идеями, чѣмъ гуще становятся толпы послѣдователей разныхъ западныхъ ученій, тѣмъ быстрѣе и быстрѣе потрясается, расшатывается и обваливается страшный колоссъ этого авторитета. Во первыхъ -- всякое явленіе, перенесенное ближе къ намъ, теряетъ уже то обаяніе, которое имѣютъ предметы, видимые издалека. Переводчикъ, благоговѣйно передающій на русскомъ языкѣ какую нибудь книгу, обыкновенно и не думаетъ, что онъ трудится надъ уничтоженіемъ одного изъ могущественныхъ очарованій книги, что онъ снимаетъ съ нея тотъ покровъ чужаго языка, подъ которымъ ея содержаніе, въ силу нѣкотораго оптическаго обмана, кажется гораздо красивѣе и глубокомысленнѣе, чѣмъ оно есть на самомъ дѣдѣ.-- Еще больше исчезаетъ эта идеализація всего чужаго, далекаго, незнакомаго, Когда послѣдователи начинаютъ излагать *своими словами*ученія, содержащіяся въ этихъ книгахъ, когда подымаются сужденія, противорѣчія, споры. Неопредѣленное и общее уваженіе съ западнымъ писателямъ тотчасъ начинаетъ колебаться, когда являются ревностные приверженцы, которые чѣмъ горячѣе хвалятъ одного писателя, тѣмъ усерднѣе бранятъ другихъ, съ нимъ несогласныхъ. Послѣдователь Карла Фохта не можетъ говорить о Ренанѣ иначе, какъ съ величайшимъ презрѣніемъ, позитивистъ видитъ въ матеріалистахъ грубыхъ невѣждъ, приверженецъ Прудона ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ Милля и т. д. и т. д. Мало по малу становится вовсе невозможнымъ быть неопредѣленнымъ, общимъ поклонннкомъ *западнаго просвѣщенія, западной науки,*такимъ поклонникомъ, какихъ у насъ было множество въ былые годы и Какими многіе напрасно усиливаются остаться и въ настоящее время. Нынѣ требуется быть приверженцемъ опредѣленнаго, частнаго образа мыслей, слѣдовательно врагомъ всѣхъ остальныхъ. Такимъ образомъ, каждый иностранный писатель встрѣчаетъ въ русской литературѣ не однѣ почтительныя похвалы, а непремѣнно и рѣзкія порицанія, а слѣдовательно, общій авторитетъ Запада съ каждымъ днемъ понижается. Таковъ естественный ходъ вещей, и противъ него ничего не сдѣлаетъ не только профессоръ М. Стасюлевичъ, но даже и г. Н. Михайловскій.

II.
**Свобода отъ авторитетовъ.**

   Я заговорилъ о г. Михайловскомъ не потому, чтобы желалъ сказать ему что нибудь обидное, хотя и имѣю къ тому совершенно достаточный поводъ. Въ прошломъ году, г. Михайловскій напалъ на меня столь же неожиданно, какъ въ нынѣшнемъ году г. Щедринъ. Г. Михайловскій заговорилъ объ одной изъ давнишнихъ моихъ статей "Дурные признаки", напечатанной еще въ 1861 году, и при этомъ случаѣ отозвался обо мнѣ очень неделикатно. Именно -- онъ прямо объявилъ (См. *Отеч. Зан.*1869 г. Іюль), что я представляю *"очевидное ничтожество",*и довольно подробно развилъ мысль, до сихъ поръ еще мало кѣмъ высказаную, что я занимаюсь *инсиуаціями,*т. е., другими словами, дѣлаю доносы (стр. 45--53).

   Такія и подобныя удовольствія доставляютъ мнѣ журналы ежемѣсячно и даже еженедѣльно. Испытывая эти удовольствія непрерывно въ теченіе десяти лѣтъ, я наконецъ начинаю чрезмѣрно удивляться тому, какимъ образомъ, во первыхъ, я до сихъ поръ еще не покрытъ окончательно позоромъ и не извергнутъ изъ почтеннаго кружка нашей литературы, а во вторыхъ, какимъ образомъ, я не задохся отъ той злобы, которую мои противники столь неутомимо стараются возбудить во мнѣ своими отзывами. Многіе, впрочемъ, твердо увѣрены, что я постоянно страдаю злобою. Г. Михайловскій, напримѣръ, въ той же статьѣ утверждаетъ (стр. 48), что у меня "внутренности кипятъ кипучей смолой".

   Увы! Онъ жестоко ошибается, воображая себѣ столь пріятное для него зрѣлище. Онъ можетъ безпрепятственно меня называть "очевиднымъ ничтожествомъ", можетъ пространно доказывать, что я доносчикъ; но пусть онъ оставитъ ту ложную мысль, что эти отзывы и даже всѣ "Отечественныя Записки", въ которыхъ они помѣщаются, составляютъ достаточное средство, чтобы покрыть меня позоромъ и заставить мои внутренности кипѣть кипучею смолой.

   Въ настоящую минуту я собираюсь представить читателямъ новое доказательство того, какъ мало я расположенъ питать злобу съ своимъ противникамъ, доказательство, которое для почтенной редакціи "Отечественныхъ Записокъ" я имѣлъ бы право считать излишнимъ, такъ какъ мои свойства въ этомъ отношеніи должны быть ей хорошо знакомы по многолѣтнему опыту. Вмѣсто того, чтобы считаться съ г. Михайловскимъ, я намѣренъ, напротивъ, обратитъ вниманіе на мысль, выраженную имъ въ одной статьѣ, -- даже болѣе, -- я хочу взглянуть на эту статью съ высшей точки зрѣнія.

   Нѣкоторый философъ, идя на костеръ, къ которому его присудили за мнимое безбожіе, поднялъ соломенку, валявшуюся на дорогѣ, и сказалъ, что для него достаточно было бы этой соломинки, чтобы убѣдиться въ бытіи и величіи Бога. Вотъ извѣстный примѣръ того, что значитъ взглянуть на предметъ съ высшей точки зрѣнія, Послѣ этого читатели мнѣ повѣрять, если я скажу, что можно извлечь не мало интереса и поучительности изъ каждой книжки "Отечественныхъ Записокъ" и даже изъ части такой книжки, изъ одной 'Статьи г. Михайловскаго. Статья, о которой я хочу говорить, вовсе не похожа на соломинку -- это весьма пространный трактатъ подъ заглавіемъ "Суздальуы и Суздальская критика" (Отеч. Зап. 1870 г. Апрѣль).

   Главную мысль этой статьи легко возвести въ нѣкоторое "знаменіе времени", легко истолковать ее, какъ признакъ нѣкотораго поворота въ западническомъ лагерѣ нашей литературы, какъ невольное обнаруженіе пораженія, понесеннаго западниками. Западническій лагерь поворачиваетъ назадъ, отступаетъ почти на всѣхъ своихъ точкахъ и старается занять позицію не столь передовую, но за то болѣе прочную. Объ этомъ уже говорила "Заря" {Ежемѣсячный журналъ, который тогда издавался В. Кашпиревымъ.} въ прошломъ году. Такъ, напримѣръ, что дѣлаетъ г. Михайловскій? Онъ всѣми силами вооружается противъ *дерзкаго и неуважительнаго обращенія съ авторитетами западной литературы.*

   Вотъ до чего мы дожили! Давно ли намъ проповѣдывали отрицаніе всякихъ авторитетовъ, давно ли раздавался бранный кликъ Писарева: *бей на право и на лѣво!*Многіе годы, все то золотое время нашей журналистики (1855--1865), по которомъ такъ вздыхаетъ теперь вся наша нигилистическая печать, -- производилось съ величайшимъ жаромъ разрушеніе авторитетовъ, низвергались идолы, съ лица земли стирались ихъ храмы и жрецы. Сегодня былъ обруганъ Маколей, завтра осмѣянъ Гизо, послѣ завтра обращены въ ничто Корнель, Расинъ и Шиллеръ, а на слѣдующей недѣлѣ уже спокойно доказывалось, что читать Шеллинга и Гегеля значитъ тоже самое, что толочь воду въ ступѣ.

   Что же мы слышимъ теперь? Насъ увѣряютъ, что эманципація отъ авторитетовъ зашла слишкомъ далеко, и что очень глупо не видѣть достоинствъ великаго писателя только потому, что мы нашли въ немъ, или вообразили что нашли, какой-нибудь недостатокъ. Г. Михайловскій проповѣдуетъ уваженіе и осмотрительность, совѣтуетъ избѣгать односторонности и рѣзкости.

   Увы! Напрасныя усилія. Когда первоначальная вѣра разрушена, когда умы разъ почувствовали дерзость и возможность обсуждать то, передъ чѣмъ прежде преклонялись, тогда вернуться назадъ уже невозможно. Г. Михайловскій берется за дѣло неисправимое -- вотъ скромное замѣчаніе, которое я хочу предложить моему развязному противнику. Бѣлинскіе, Добролюбовы, Писаревы и Зайцевы сдѣлали свое дѣло; они возбудили ту рьяную охоту разсуждать, поднимать вопросы и вершить ихъ, изъ которой вышло столько дерзости, нынѣ ненравящейся г. Михайловскому. Среди яраго вольнодумства, всячески возбуждаемаго и поддерживаемаго, общій авторитетъ Запада необходимо долженъ былъ поколебаться. Труды и усилія западниковъ понемногу обратились имъ самимъ во вредъ. Такъ-то идутъ дѣла на свѣтѣ. Сперва было очень весело издѣваться надъ философіею, ругаться надъ искусствомъ, презрительно бранить Пушкина и Карамзина, обзывать пошляками разныя европейскія знаменитости, а вотъ теперь приходится расплачиваться за всѣ эти удовольствія. Учили-учили ругаться да презирать, а теперь самимъ приходится жутко, потому что ругань и презрѣніе обратились на то, что хотѣлось бы сохранить въ почетѣ и уваженіи.

   Г. Михайловскій не имѣетъ и подозрѣнія о такомъ ходѣ дѣлъ, вовсе не видитъ, откуда идетъ зло, противъ котораго онъ вооружается. Онъ приписываетъ разныя дерзости нашей литературы -- грубости россійскихъ умовъ, ихъ невоздѣланности и дикости. Въ рѣзкихъ сужденіяхъ онъ видитъ наше варварство, нашу привычку или низко раболѣпствовать, или нагло повелѣвать. Онъ называетъ *Суздальцами, Суздальскими критиками*тѣхъ цѣнителей, которые хвалятъ и бранятъ слишкомъ опредѣленно, которые всегда готовы произнести общій приговоръ надъ писателемъ, подобно тому, какъ суздальскіе рисовальщики не мало не затрудняются покрыть одной краской всю фигуру человѣка.

   Всѣ эти разсужденія, намъ кажется, мало касаются существа дѣла. Изъ вѣжливости я сказалъ, что въ статьѣ г. Михайловскаго заключается мысль; но, собственно говоря, это не мысль, а скорѣе чувство или желаніе, даже просто -- мечта. Ибо что намъ предлагаетъ г. Михайловскій? Есть ли хоть тѣнь опредѣленнаго правила во всѣхъ его увѣщаніяхъ? Никакой. Рѣзкія сужденія и общіе приговоры, говоритъ онъ, *могутъ быть*несправедливы. О, конечно; но нужно твердо помнить, что они бываютъ несправедливы только тогда, когда бываютъ невѣрны. Если бы г. Михайловскій не упустилъ изъ виду этого простаго замѣчанія, то онъ не написалъ бы своей статьи.

   Зло, противъ котораго онъ вооружается, вовсе не есть зло, а гдѣ настоящее зло, онъ не видитъ. Рѣзкія сужденія сами по себѣ есть вещь прекрасная и бываютъ дурны только тогда, Когда они тупы и неосновательны. Общіе приговоры не только позволительны, но заслуживаютъ величайшей похвалы, когда они совершенно мѣтки. Отрицаніе авторитетовъ -- дѣло святое; люди мыслящіе и пишущіе должны быть свободны отъ всякаго *слѣпаго*поклоненія, должны всячески отдѣлываться отъ предразсудковъ, никому не вѣрить на слово, а имѣть собственное сужденіе о предметахъ. Все это вещи прекрасныя, на которыя нападать никакъ не слѣдуетъ. Дурно же тутъ совсѣмъ другое; дурно не то, что люди судятъ, пишутъ и печатаютъ, а то, что много есть тупицъ, которые судятъ, пишутъ и печатаютъ, и что еще больше такихъ, которые эти писанія читаютъ и похваливаютъ. Но что же съ этимъ подѣлать? Какъ ни мечтай, а весьма вѣроятно, что въ родѣ человѣческомъ инымъ порядкомъ дѣла никогда идти не будутъ.

   Когда же умные люди произносятъ рѣзкія сужденія и дѣлаютъ смѣлые общіе приговоры, то признаюсь, мнѣ всегда пріятно читать и слушать. Такъ, напримѣръ, мнѣ очень понравилось сужденіе о Контѣ, высказанное Гексли, но, какъ я полагаю, первоначально принадлежащее не ему, Гексли сказалъ, что позитивная философія Конта, есть ни что иное, какъ *католицизмъ безъ христіанства.*Какъ мѣтко, опредѣленно и образно! Г. Михайловскій называетъ за это Гексли суздальскимъ критикомъ, я же призналъ бы его и тонкимъ мыслителемъ, и мастерскимъ писателемъ, если бы только былъ увѣренъ, что онъ дѣйствительно авторъ такого чудеснаго опредѣленія.

   Серіозный читатель, который занимается дѣломъ и потому не слѣдитъ за вѣкомъ и нашими журналами, можетъ быть не знаетъ, что позитивизмъ у насъ нынче въ большой модѣ. Передовые изъ передовыхъ нынче уже не фурьеристы, не нигилисты, не реалисты, не матеріалисты, а позитивисты. Что будетъ въ слѣдующемъ году, неизвѣстно, но въ нынѣшнемъ позитивизмъ есть послѣднее слово нашего прогресса. Статья г. Михайловскаго собственно имѣетъ цѣлью защиту позитивизма отъ нѣкоторыхъ *суздальскихъ*нападеній.

   Если такъ, то просвѣщенному русскому человѣку не дурно имѣть нѣкоторое общее понятіе о позитивизмѣ, играющемъ не малую роль не только за границей, но и у насъ. Для такого понятія смѣло рекомендуемъ эту формулу: *католицизмъ безъ христіанства.*Сказано вѣрно и глубоко. Въ этомъ опредѣленіи содержится указаніе на тотъ общій и многознаменательный фактъ, что философскія системы и политическія теоріи всегда создаются подъ неотразимымъ вліяніемъ тѣхъ религіозныхъ вѣрованій, среди которыхъ растутъ ихъ авторы. Несмотря на свое вольнодумство, Франція есть страна глубоко проникнутая католицизмомъ; самыя ея революціи и соціалистическія стремленія, какъ замѣтилъ и Эдгаръ Кине, имѣютъ вполнѣ католическій характеръ. Такова сила того великаго нравственнаго авторитета, Который заключается въ религіи. Душевный складъ человѣка обыкновенно находится въ зависимости отъ религіи его народа, а философская система мыслителя -- въ зависимости отъ душевнаго склада человѣка. По характеру своихъ взглядовъ Контъ такой же католикъ, какъ Милль протестантъ, и стоитъ прочесть ихъ споры и прослѣдить разногласія, чтобы убѣдиться, что здѣсь столкнулись и спорятъ католикъ съ протестантомъ.

   Предметъ любопытный. Но намъ приходится его оставить и перейти съ другому примѣру. Г. Михайловскому не нравится то *общее опредѣленіе*Н. Я. Данилевскаго, по которому одна изъ основныхъ чертъ народовъ германо-романскаго типа есть *насильственностъ.*Г. Михайловскаго смущаетъ то, что такимъ образомъ цѣлому типу народовъ приписывается *дурная черта,*а другому типу, славянскому, придается слишкомъ большое достоинство, именно отсутствіе этой дурной черты.. Но вѣдь это вовсе не возраженіе, точно такъ же какъ нельзя считать возраженіемъ противъ мысли Н. Я. Данилевскаго убійство фонъ-Зона, или происшествіе въ Гусевомъ переулкѣ {Уголовныя преступленія, случившіяся тогда въ Петербургѣ.}. Нельзя вѣдь сказать г. Данилевскому, чтобы онъ *не смѣлъ судитъ*о достоинствахъ и недостаткахъ народовъ, и нельзя же сказать, что, по своему невѣжеству относительно Россіи, онъ вообразилъ, что въ ней никакихъ убійствъ не происходитъ.

   Каждый народъ и каждая группа народовъ, то, что г. Данилевскій назвалъ "культурно-историческимъ типомъ", имѣетъ, подобно отдѣльному человѣку, подобно всякой вещи и всякому явленію на землѣ, свои особенности свои достоинства и недостатки. Такъ Евреи были религіозны, Греки имѣли слабый политическій смыслъ, Римляне были неспособны съ искусствамъ, германо-романскій типъ отличается насильственностію, а славянскій -- мягкостію. Г. Михайловскій не хочетъ этому вѣрить; опредѣленіе общихъ качествъ народовъ и типовъ онъ считаетъ дерзостію и суздальскою грубостію мысли. Какъ можно, говоритъ онъ, судить о цѣломъ народѣ?

   Въ отвѣтъ на это можно бы употребить слѣдующій arguinentum ad hominem, а какъ смѣетъ писать самъ г. Михайловскій? Какъ онъ смѣетъ, напримѣръ, судить о г. Данилевскомъ? Что касается до меня, то я отрицаю у г. Михайловекаго всякое право на подобную дерзость; я считаю его совершенно неспособнымъ разсуждать о столь высокихъ предметахъ. Авторъ же "Россіи и Европы", по моему мнѣнію, можетъ говорить о чемъ ему угодно, и я буду слушать его съ восхищеніемъ.

   Н. Я. Данилевскій есть дѣйствительно писатель дерзкій мыслію, смѣлый умомъ; онъ касается вопросовъ величайшей важности и величайшей трудности. И вотъ, наши западники, поджимающіе хвостъ вслѣдствіе того, что передъ этимъ наболтали слишкомъ много глупостей, начинаютъ укорять автора "Россіи и Европы" въ томъ, что онъ легкомысленъ и неостороженъ. Какъ можно судить о Европѣ? Какъ можно предлагать вопросъ: гніетъ ли западъ? Какъ можно цѣлому народу приписывать опредѣленное свойство? и. т д. и т. д.

   Можно, все можно, можно всякому, не запрещается и г. Михайловскому. Толкуйте на здоровье и помните только, что кто изъ васъ тупъ, у того выйдутъ и тупыя рѣчи, а умныя выйдутъ только у умныхъ.

   Мнѣ искренно жаль, что г. Михайловскій не былъ способенъ оцѣнить достоинствъ "Россіи и Европы". *Насильственность,*указанная г. Данилевскимъ въ народахъ германско-романскаго типа, есть черта глубоко-вѣрная, истинное открытіе, которое не забудется при развитіи нашихъ взглядовъ на себя и на Европу. Г. Михайловскаго эта черта поразила конечно потому, что она касается любезнаго ему Запада. Но онъ напрасно думаетъ, что смѣлость г. Данилевскаго вполнѣ обнаруживается въ рѣшимости пронести эту опредѣленную черту. Если бы г. Михайловскій видитъ какъ слѣдуетъ въ "Россію и Европу", то онъ убѣдился бы, что г. Данилевскій смѣлъ удивительно, несравненно. О самыхъ трудныхъ вопросахъ, о предметахъ общихъ, отвлеченныхъ, неуловимыхъ, онъ умѣетъ говорить съ такою точностію, ясностію, опредѣленностію, какой -- смѣло можно сказать -- еще не было примѣра въ русской литературѣ. Этотъ писатель, котораго г. Михайловскій презрительно называетъ "суздальцемъ", умѣетъ съ величайшей тонкостью указать характеръ и особенности каждаго предмета, на который устремитъ свою мысль. Съ поразительнымъ мастерствомъ онъ проводитъ разграничительныя черты между вещами, которыя кажутся для менѣе проницательныхъ глазъ совершенно сливающимися и туманными, То, что г. Михайловскій принялъ за недостатокъ, въ сущности есть величайшее и безцѣнное достоинство г. Данилевскаго. По мнѣнію г. Данилевскаго, всѣ земныя вещи и явленія имѣютъ предѣлы, границы, на землѣ нѣтъ ничего безконечнаго, неопредѣленнаго; слѣдовательно, знаніе должно стремиться уловить особенный характеръ каждой вещи и каждаго явленія, и г. Данилевскій доказалъ, что онъ великій мастеръ на такое познаніе.

III.
**Романъ Адольфа Бело.**

   Напрасно возставать противъ людей, имѣющихъ дерзость судить о Европѣ: этой дерзости суждено увеличиваться съ каждымъ годомъ. Напрасно возстаютъ противъ неуважительныхъ отзывовъ о тѣхъ или другихъ *великихъ*западныхъ мыслителяхъ: эти отзывы неизбѣжны, и уже никогда не возвратится то благоговѣніе, съ которымъ мы нѣкогда смотрѣли на западную мудрость.

   Но такъ дѣло идетъ только въ русской литературѣ, а далеко еще не въ русской публикѣ. Русская публика не состоитъ изъ однихъ подписчиковъ на русскіе журналы; есть другой отдѣлъ этой публики, отдѣлъ весьма значительный, который русскихъ книгъ не читаетъ. Эта сфера нашей интеллигенціи захватываетъ собою иныхъ людей весьма маленькихъ, но простирается далеко вверхъ и объемлетъ собою много людей высоко-поставленныхъ. Читатели этой сферы читаютъ только иностранныя книги, преимущественно французскія. Для нихъ у насъ въ Петербургѣ существуютъ книжные магазины, съ которыми, увы! по изяществу и великолѣпію точно такъ же не можетъ равняться ни одинъ русскій книжный магазинъ, какъ не равняется ни одинъ русскій театръ французскому, стоящему на Михайловской площади.

   Эти западники, какъ мы сказали, не читаютъ русскихъ книгъ; они ни мало не заботятся даже о томъ, что пишется въ "Отечественныхъ Запискахъ". За то они слѣдятъ за Парижской литературой съ такимъ вниманіемъ, съ какимъ не слѣдитъ ни одинъ нашъ журналъ, ни одинъ изъ присяжныхъ литераторовъ. Они читаютъ такія книги, воспитываютъ свой вкусъ, умъ и чувство на такихъ писателяхъ, о которыхъ русская литература, не смотря на все свое западничество, не считаетъ долгомъ упоминать.

   Вотъ въ этой-то сферѣ недавно, въ февралѣ настоящаго года (1870), обнаружилось нѣкоторое волненіе. Во всѣхъ магазинахъ, гдѣ только продаются французскія книги, происходила суета. Ежедневно, чуть не сотнями экземпляровъ, раскупалась одна вновь вышедшая книга, и книгопродавцы безпрестанно должны были дѣлать новые заказы этой книги въ Парижѣ. Въ теченіе одного или двухъ мѣсяцевъ книга эта выдержала до *двадцати*изданій, изъ которыхъ вѣроятно не одно потребовалось для Россіи вообще и для богоспасаемаго города Петербурга въ особенности. Что же за чудо искусства надѣлало столько шума? Это было не чудо искусства, а паѳостный романъ Адольфа Бело (Adolphe Belot), который нынѣ явился въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ *Дѣвица Жиро -- моя супруга.*Переводчикъ вмѣсто *Бело*поставилъ почему-то *Белло,*да кажется ошибся и въ тонѣ заглавія; слѣдовало бы перенести такъ: *мамзель Жиро -- моя жена.*

   Слово *пакостный*мы заимствуемъ не у г. Шедрина, а у Душкина, который сказалъ:

   Не женщины любви насъ учатъ,

   А первый пакостный романъ.

   Тоже самое слово мы находимъ у другаго нашего великаго писателя, гр. Л. Н. Толстого, и при томъ въ примѣненіи къ тому же предмету. Когда капитанъ Рамбаль разсказываетъ Пьеру свои любовныя похожденія, то гр. *Д.*Н. Толстой замѣчаетъ: "Всѣ любовныя исторіи Рамбаля имѣли тотъ характеръ *пакостности,*въ которомъ французы видятъ исключительную прелесть и поэзію любви". "L'amour, которой поклонялся французъ, заключалась преимущественно въ неестественности отношеній съ женщинѣ и въ комбинаціи уродливостей, которыя придавали главную прелесть чувству". (Война и миръ, т, 4, стр. 142).

   Капитанъ Рамбаль конечно -- одинъ изъ лучшихъ французовъ, какихъ только мы знаемъ, да и вообще прекрасный малый. Онъ вполнѣ добрый, честный, великодушный человѣкъ. И несмотря на все это, мы чувствуемъ отвращеніе къ его взглядамъ на любовь и женщинъ. Тоже самое должно сказать о французахъ вообще. Несмотря на то, что французы не только хорошій, но даже *великій*народъ, какъ Римляне, Аѳиняне, и несмотря на то, что г. Михайловскій строго запрещаетъ говорить что-либо неодобрительное о цѣлыхъ народахъ, я все-таки, по совѣсти и по крайнему разумѣнію, долженъ сказать, что французы не должны служить намъ образцами въ любовныхъ и семейныхъ дѣлахъ, и что русскій человѣкъ поступитъ прекрасно, если будетъ воспитывать въ своемъ сердцѣ то чувство отвращенія, которое иногда съ такою силою вызывается у насъ французскими произведеніями, касающимися этого важнаго вопроса человѣческой жизни.

   Вотъ народъ, у котораго какъ будто нѣтъ семьи; несмотря на то, что герои французскихъ романовъ безпрестанно толкуютъ о ma pauvre mиre и о l'epйe de mon pиre, невольно чувствуется, какъ будто они родились не отъ того союза, который мы называемъ семьею, а отъ любовныхъ связей, имѣющихъ гораздо низшее значеніе. Образъ женщины никогда не достигаетъ во французской литературѣ своей полной чистоты; мы не найдемъ въ этой литературѣ ни Офеліи, ни Дездемоны. Семья никогда не выступаетъ на первый планъ, никогда не является во всей своей святынѣ, не обнаруживаетъ своей сущности, исполненной такихъ чистыхъ радостей, а часто и такого глубокаго горя: во французской литературѣ невозможны не только такія произведенія, какъ "Капитанская дочка", или "Война и миръ", а даже и такія, какъ посредственный англійскій романъ, посвященный изображенію семейныхъ отношеній.

   Что касается до романа г. Бело, то онъ пакостенъ по предмету, но тысячекратно пакостнѣе по манерѣ, съ которою авторъ трактуетъ свой предметъ. Предметъ собственно никогда не можетъ быть поставленъ въ упрекъ художнику. Можно и даже должно касаться всякой гадости, какая только существуетъ на свѣтѣ; но чаще всего требуется именно только *касаться,*такъ какъ художество, по самому существу своему, не допускаетъ такого углубленія и погруженія въ гадости, при которомъ бы онѣ выступили на первый планъ и не были бы отодвинуты другими вещами въ надлежащую даль перспективы. Шекспиръ по содержанію одинъ изъ неприличнѣйшихъ писателей, но по манерѣ изображенія одинъ изъ цѣломудреннѣйшихъ.

   Есть впрочемъ родъ литературныхъ произведеній, говоря о которыхъ было бы смѣшно забираться слишкомъ высоко и толковать о строгихъ художественныхъ требованіяхъ. Есть множество французскихъ романовъ, нимало не скрывающихъ той цѣли, для которой они написаны. Они стараются подѣйствовать на чувственность, тщеславіе, жажду денегъ и тому подобныя склонности, и содержатъ изображеніе разныхъ удовольствій и приключеній, картины легкомысленной и роскошной жизни, весь интересъ которыхъ состоитъ въ томъ, что въ читателѣ безпрестанно возбуждается похоть, зависть, желаніе предаться тѣмъ же наслажденіямъ. Эта откровенная литература очень вредна, но имѣетъ то несомнѣнное достоинство, что она откровенна. Притомъ въ случаѣ талантливаго исполненія за произведеніями этого рода можетъ все еще оставаться достоинство реализма, отраженія дѣйствительной жизни, хотя не просвѣтленнаго идеею, но вѣрнаго въ частностяхъ.

   Романъ г. Бело не имѣетъ и этихъ, самыхъ простыхъ и низшихъ достоинствъ. Это нелѣпѣйшее *сочиненіе,*выдумка, въ которой все фальшиво, все ложно, и тонъ разсказа, и самыя приключенія и поступки дѣйствующихъ лицъ. Тонъ разсказа строгій, нравоучительный. Такъ какъ авторъ выбралъ предметомъ своимъ одинъ изъ самыхъ гнусныхъ видовъ разврата, противоестественную связь между женщинами, то, конечно, строгій тонъ тутъ какъ нельзя болѣе умѣстенъ и натураленъ. Но то и замѣчательно, что у нашего автора даже и *въ*этомъ случаѣ строгость очевидно только напускная, только сочиненная. Онъ осуждаетъ -- но совершенно неизвѣстно почему; основаній для осужденія онъ не можетъ найти. Онъ повидимому скроменъ въ своемъ разсказѣ, но вы тотчасъ, по отсутствію настоящей мѣры въ подробностяхъ, видите, что у него нѣтъ истинной скромности, и что, пожалуй, ему даже нравится то, на что онъ изъ приличія набрасываетъ покровъ.

   Развратъ, какой бы онъ ни былъ, всегда имѣетъ или получаетъ нѣкоторую связь съ нравственною природой человѣка. Есть женщины, которыя развратны по природѣ, какъ Елена Безухая, какъ героиня Дюма-сына въ L'affaire Clemenceau. Если же развратъ случайно увлекаетъ человѣка, то и тогда рѣдко онъ не кладетъ на него неизгладимой печати, и часто требуется долгая и и тяжкая борьба, чтобы очистить душу отъ этого клейма. Нужно считать исключеніемъ, когда развратъ является одною чисто внѣшнею случайностію, когда душа бываетъ имъ не тронута; такова, по замыслу автора, фигура Сони въ "Преступленіи и Наказаніи" г. Достоевскаго. Эта продажная женщина въ сущности цѣломудреннѣе иныхъ безупречныхъ дѣвицъ.

   Какъ бы то ни было, отношеніе между развратомъ и нравственною природою человѣка -- вотъ настоящая задача для художника, берущагося за подобныя темы, и истинный художникъ никогда не выпуститъ этой задачи изъ виду. Г. Бело, напротивъ, далекъ отъ малѣйшаго подозрѣнія о самомъ ея существованіи; ему и въ голову не приходитъ, что есть нѣкоторое отношеніе между зломъ, которое онъ описываетъ, и нравственнымъ міромъ человѣка.

   Онъ разсказываетъ намъ великія страданія мужа, которому попалась развратная жена. Но въ чемъ состоятъ эти страданія? Не въ разочарованіи, не въ отвращеніи и отчаяніи, а единственно и исключительно въ томъ, что эта женщина, считаясь за нимъ замужемъ, не хочетъ быть его женою. Неудачи мужа въ попыткахъ обладать испорченною женщиною, -- вотъ тѣ несчастія, которыя подробно и жалостливо описываются въ романѣ.

   Г. Бело изображаетъ намъ развратныхъ женщинъ. Но какъ онъ это дѣлаетъ? Подмѣтилъ ли онъ то извращеніе души, которое ведетъ къ разврату, показалъ ли, какъ подъ вліяніемъ этого зла душа теряетъ свою свѣжесть и искажается? Ничуть не бывало! Его развратныя женщины въ сущности также прелестны, умны, ловки, внушаютъ мужчинамъ такія же чувства и желанія, какъ и другія женщины. Вся бѣда только въ томъ, что онѣ не хотятъ имѣть дѣла съ мужчинами. Все нравоученіе, какое даетъ романъ г. Бело, состоитъ въ слѣдующемъ: г-да мужчины! вооружитесь всѣми силами противъ этого зла (не потому, что оно гнусно само по себѣ, а) потому, что оно можетъ отнимать у насъ ласки нашихъ очаровательныхъ женъ и любовницъ!

   Согласитесь, любезный читатель, что пакостнѣе подобнаго соображенія невозможно придумать, и что нельзя спуститься на точку зрѣнія, которая была бы еще ниже этой.

   Приключенія романа безтолковы и натянуты въ высшей степени. Они основаны на томъ, что одной изъ порочныхъ женщинъ приписана невѣроятная энергія и хитрость, преодолѣвающая всякія препятствія (что ни мало не относится къ сущности дѣла); несчастные мужчины ведутъ съ этою женщиною неудачную борьбу; наконецъ одинъ изъ нихъ рѣшился избавить мужской полъ отъ столь опасной соперницы и утопилъ ее въ морѣ.

   Вотъ какой вздоръ, въ сущности весьма отвратительный, имѣлъ недавно громадный успѣхъ повсюду, гдѣ только читаютъ по-французски.

IV.
**Флоберъ. Викторъ Гюго.**

   Утѣшиться можно отчасти тѣмъ, что у насъ читаются и переводятся, разумѣется, не одни же плохія и пакостныя французскія произведенія, а и такія, которыя составляютъ настоящее дѣло, серіозное искусство, приносятъ честь французскому народу. Къ нимъ мы относимъ *Сантиментальное воспитаніе*Флобера и *Человѣкъ, который смѣется --*Виктора Гюго.

   Французская литература (разумѣемъ настоящую, а не ту массу уродливостей и пошлостей, которая наполняетъ ежедневный рынокъ) отличается замѣчательною живучестію, и, кажется, наши понятія о ней, получившія, подъ вліяніемъ нѣмцевъ, сильный оттѣнокъ презрѣнія, требуютъ значительной поправки. Мы такъ привыкли считать французовъ народомъ нехудожественнымъ, и притомъ изжившимъ, что почти перестали ждать отъ нихъ чего-нибудь хорошаго. Между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ да и появится у нихъ какое-нибудь произведеніе, часто имѣющее яркіе недостатки, но въ тоже время исполненное такой энергической мысли, такого вдохновенія, что оно увлечетъ ивзволнуетъ насъ несравненно больше, чѣмъ дѣйствуютъ на насъ англійскія и нѣмецкія произведенія, повидимому всегда отличающіяся большею правильностію и болѣе глубокою художественностію. Этотъ опытъ, часто повторяющійся, долженъ бы научить насъ не смотрѣть на литературу "великаго народа" съ тѣмъ высокомѣріемъ, которому понемногу насъ научили нѣмцы, начиная съ Лессинга.

   Кстати, приведемъ здѣсь сравненіе между современной французской и нѣмецкой словесностію, сдѣланное недавно Сен-Рене Тальяндье, французомъ, одинаково начитаннымъ въ той и другой литературѣ. "Каково бы ни было, говоритъ онъ, достоинство Бертольда Ауэрбаха и Левина Шиккинга, Фридриха Шпильгагена и Германа Гримма, я не думаю, чтобы они могли соперничать съ представителями французской школы въ художественной тонкости и законченности. Важности Ауэрбаха, гибкости Шиккинга, страстности Шпильгагена, правильности Гримма мы могли бы побѣдоносно противупоставить смѣлое краснорѣчіе Жоржъ-Занда, трезвое и увѣренное искусство Мериме, полную силы грацію Октава Фелье, поэтическое изящество Жюля Сандо, живое остроуміе Эдмонда Абу, блестящую энергію Виктора Шербюлье". (Revue des Deux Mondes, 1869, 15 Nov.р. 429).

   Это перечисленіе корифеевъ нѣмецкой *и*французской изящной литературы и эта краткая ихъ оцѣнка могли бы подать поводъ ко многимъ соображеніямъ. Такъ напримѣръ произведенія Октава Фелье и Виктора Шербюлье конечно принадлежатъ къ той *искусственной*литературѣ, которая можетъ восхищать только французовъ, и которая отталкиваетъ отъ себя людей, понимающихъ истинныя художественныя требованія. Но Жоржъ-Зандъ и Мериме суть, безъ сомнѣнія, первостепенные писатели, до которыхъ далеко перечисленнымъ у Тальяндье нѣмецкимъ романистамъ. Точно также несравненно выше этихъ романистовъ мы должны поста" вить и Виктора Гюго и Флобера, которыхъ Тальяндье почему-то вовсе пропустилъ.

   Флоберъ, впрочемъ, еще не пользуется установившеюся знаменитостію, а между тѣмъ вполнѣ ея заслуживаетъ. главная особенность его есть *реализмъ,*до такой степени твердый, трезвый и объективный, что его нужно признать безъукоризненно художественнымъ. Реализмъ въ своей простѣйшей, первоначальной формѣ всегда будетъ *обличеніемъ.*Такова наша жизнь, что художникъ, просто копирующій дѣйствительность, на каждомъ шагу встрѣчаетъ мелкое, грязное, пошлое. Художникъ правъ, когда рисуетъ намъ будни человѣческой жизни въ томъ сѣромъ свѣтѣ, который они дѣйствительно имѣютъ. Но причина, по которой художники отказываются отъ высшихъ областей творчества истановятся копировальщиками, бываетъ различна. Художникъ воздерживается отъ идеала или потому, что онъ его еще *ищетъ,*слѣдовательно вѣритъ въ него, или потому, что онъ его *потерялъ,*слѣдовательно уже не вѣритъ въ него. Флоберъ, намъ кажется, принадлежитъ ко второму разряду. Такихъ французовъ, какіе являются въ его романахъ, мы еще не видали. Обыкновенно французскіе характеры намъ представлялись со всѣми признаками *хищнаго*типа, съ рѣзкими опредѣленными чертами, съ послѣдовательностію въ дурномъ и хорошемъ. У Флобера являются фигуры напоминающія Бурьенку и Рамбаля гр. Л. Н. Толстаго. Въ *Сантиментальномъ воспитаніи*разсказана жизнь нѣкотораго Фредерика Моро, составляющая, конечно, очень обыкновенный образчикъ французской жизни. Этотъ человѣкъ (провинціальный дворянинъ средней руки) не сдѣлалъ ничего ни хорошаго, ни дурнаго; онъ искалъ славы, любви, наконецъ наслажденій, но ничего не дѣлалъ настойчиво, и все, что ему досталось, было или поздно, или неполно, или отравлено его собственными слабостями. Съ удивительнымъ мастерствомъ авторъ рисуетъ тѣ различныя сферы французской жизни, въ которыя попадаетъ его герой, неумѣющій ни вполнѣ примкнуть къ этимъ сферамъ, ни вполнѣ уйти отъ ихъ вліянія. Вездѣ такая пустота, столько чувственности и эгоизма, что становится страшно за это общество. Между прочимъ, на первомъ планѣ проходитъ революція 1848 года. Сцены ея изображены съ тѣмъ же безпощаднымъ реализмомъ.

   Всѣ эти картины мелкихъ и дурныхъ страстей, перемѣшанныхъ съ благородными порывами, даютъ намъ, если и далеко неполное, то зато безукоризненно вѣрное представленіе о многихъ пестрыхъ слояхъ французскаго, то есть главнымъ образомъ парижскаго общества.

   Переводъ *Сантиментальнаго воспитанія*исполненъ очень удовлетворительно.

   Викторъ Гюго затѣялъ опять трилогію, первую часть которой и составляетъ *" Человѣкъ, который смѣется".*Что будетъ трилогія, видно изъ его предисловія, которое почему-то опущено въ переводѣ, и которое потому мы сами переведемъ для любопытныхъ читателей.

   "Въ Англіи все велико, даже то, что дурно, даже олигархія. Англійскій патриціатъ есть патриціатъ въ абсолютномъ смыслѣ этого слова. Нѣтъ феодализма бознаменитаго, болѣе страшнаго и болѣе живучаго. Скажемъ прямо, этотъ феодализмъ бывалъ въ свое время полезенъ. Это явленіе нужно изучать въ Англіи, точно такъ, какъ во Франціи нужно изучать то явленіе, которое называется королевскою властью."

   "Настоящее названіе этой книги было-бы *Аристократія.*Другую, слѣдующую книгу можно будетъ назвать *Монархія.*А за этими двумя книгами, если автору дано окончить этотъ трудъ, послѣдуетъ, какъ нѣкоторое заключеніе, еще книга, которая будетъ называться *Девяносто третій іодъ".*(L'Homme qui rit, T. I. p. 5).

   Припомнимъ читателямъ смыслъ прежней трилогіи, доставившей Виктору Гюго такую славу. Три главные его романа были связаны между собою слѣдующимъ образомъ: 1) Notre Dame de Paris -- борьба человѣка съ преданіемъ; 2) Les misйrables -- борьба человѣка съ обществомъ; 3) Les travailleurs de la mer -- борьба человѣка съ природою. Во всѣхъ трехъ романахъ изображены страданія человѣка и гибель его въ борьбѣ съ силами, противъ которыхъ онъ вздумалъ возстать.

   Смыслъ новой трилогіи довольно ясенъ и изъ появившейся первой части и изъ словъ предисловія. Въ *Человѣкѣ, который смѣется*изображена аристократія въ самомъ блестящемъ ея развитіи, и ей противопоставлено положеніе народа, безмѣрно страдающаго и униженнаго, и въ тоже время способнаго къ самымъ нѣжнымъ и высокимъ чувствамъ. Въ романѣ *Монархія*конечно явится Франція въ одну изъ эпохъ наибольшаго развитія королевской власти, и точно также конечно будетъ изображенъ народъ, несущій на себѣ гнетъ этой власти. Наконецъ въ романѣ *1793 годъ*вѣроятно передъ нами будетъ Франція въ ту минуту, когда идеи, противоположныя всякой аристократіи и всякой монархической власти, достигли своей высшей силы и осуществленія; будетъ изображено владычество народа, его месть, возвѣщеніе міру новыхъ началъ, -- словомъ какая-нибудь картина, рисующая глубокій смыслъ французской революціи.

   Замыселъ, какъ видятъ читатели, очень грандіозный. Но мы нарочно привели въ голой формѣ эти широкіе замыслы и ясные планы для того, чтобы дать почувствовать читателямъ, что мысли, которыми задается Викторъ Гюго, далеко не переходятъ у него въ ясное и живое осуществленіе, и потому не напечатлѣваются въ въ умѣ читателей, не образуютъ какого-либо опредѣленнаго воззрѣнія, которое можно бы вынести изъ чтенія Гюго, которымъ можно бы было проникнуться. Въ произведеніяхъ Гюго бездна поэзіи, и въ тоже время господствуетъ невообразимый, чудовищный хаосъ. Всякій образъ разрастается безъ мѣры; какъ въ словахъ, такъ. и въ картинахъ, лицахъ, событіяхъ -- цѣлый океанъ напряженнѣйшихъ гиперболъ, самыхъ рѣзкихъ и крикливыхъ антитезъ, какія только возможны. При такомъ отсутствіи всякой мѣры и правильности, Гюго все-таки остается поэтомъ, и даже великимъ, не смотря на свою уродливость, но отнюдь не тѣмъ прогрессистомъ и революціонеромъ, за котораго онъ себя постоянно выдаетъ и котораго можно бы весьма сильно осудить за противорѣчивую путаницу его идей.

   *"Человѣка, который смѣется",*нужно поставить ниже лучшихъ произведеній Гюго. Если сила поэзіи все еще не оскудѣла у геніальнаго старика, то зато недостатки разрослись чрезвычайно, хотя казалось имъ уже невозможно было вырости больше. Англійская аристократія изображена, впрочемъ, недурно, если только откинуть тотъ преувеличенный колоритъ, которымъ покрылъ Гюго свою картину ради пущей рѣзкости въ контрастѣ. Послушать Гюго -- такъ это были дѣйствительно какіе-то боги, собиравшіеся въ парламентѣ на Олимпѣ. Такъ какъ они обладали властью и богатствомъ, то Гюго представилъ жизнь ихъ свѣтлою, блаженною, исполненною безпрерывныхъ радостей, фантастическихъ прихотей, и встрѣчающею свои страданія съ гордой улыбкой, съ безпечнымъ великодушіемъ. Это матеріальное пониманіе человѣческаго благополучія очень идетъ къ идеѣ его романа, но очевидно мѣшаетъ его поэтической глубинѣ. Впрочемъ Гюго не выдерживаетъ этого тона, и тамъ, гдѣ проявляется другая, человѣческая сторона его лордовъ и леди, мы встрѣчаемъ многія мастерскія черты.

   Представители народа, Ursus, Гуинплэнъ и Деа исполнены самыхъ идеальныхъ достоинствъ, терпятъ всевозможныя страданія и наконецъ гибнутъ. Читатель остается однако же холоднымъ вслѣдствіе непомѣрнаго преувеличенія этихъ фигуръ и ихъ приключеній. Преувеличеніе поражаетъ воображеніе, оставляетъ ихъ образы въ памяти, но дѣлаетъ почти невозможнымъ сочувствіе.

   Романъ Гюго читался довольно жадно, но оставлялъ послѣ себя постоянное разочарованіе и не произвелъ большого впечатлѣнія.

   Языкъ Гюго очень замѣчателенъ по своей силѣ и поэтичности. Поэтому переводить Гюго трудно, и читатели, желающіе полюбоваться всѣми искрами и зарницами поэзіи въ его новомъ романѣ, хорошо сдѣлаютъ, если прочитаютъ его въ подлинникѣ.

V.
**Шиллеръ. Ауэрбахъ.**

   Обращаемся къ нѣмецкой литературѣ. Недавно вышелъ *восьмой*томъ Шиллера въ прекрасномъ изданіи Н. В. Гербеля, содержащій въ себѣ *Исторію отпаденія Нидерландовъ отъ Испанскаго владычества.*Новый и единственный полный переводъ П. Н. Полеваго.

   Это изданіе напоминаетъ намъ тѣ времена, когда нѣмецкая литература имѣла для насъ огромное значеніе. Было время, когда мы жили и питались нѣмецкою поэзіею, нѣмецкою философіею; изданіе Шиллера представляетъ едва ли не самый важный литературный памятникъ тогдашняго вашего подчиненія германскому духу. Судьба Шиллера въ русской литературѣ вообще очень интересна; были же причины, по которымъ мы полюбили этого поэта преимущественно предо всѣми другими, по которымъ нашлось для него столько прекрасныхъ переводчиковъ, и онъ намъ почти столько же сталъ милъ и знакомъ, какъ любой изъ родныхъ поэтовъ. Первые томы изданія г. Гербеля выдержали по *три,*даже по *четыре*изданія. Гёте, напримѣръ, былъ у насъ прославляемъ и почитаемъ конечно не менѣе Шиллера, но на его долю не выпало и малой части той любви, того глубокаго увлеченія, вслѣдствіе котораго въ нашей переводной литературѣ ни одинъ писатель не можетъ равняться съ Шиллеромъ по множеству и достоинству переводовъ.

   Какъ бы кто ни судилъ, но отчасти это явленіе конечно объясняется тѣмъ, что Шиллеръ есть поэтъ несравненный по своей достолюбезности, по благородству своихъ душевныхъ движеній, по чистотѣ и пламенности своего энтузіазма.

   Но эти времена живаго господства Германіи давно прошли. Мы еще читаемъ Шиллера, но давно уже вліяніе на насъ современной нѣмецкой литературы потеряло прежнюю силу. Причина безъ сомнѣнія та, что въ самой Германіи упали и поэзія и философія. Знаменитая нѣмецкая поэзія, столь возвышенная и глубокая, выродилась въ насмѣшливыя пѣсенки Гейне. Знаменитая нѣмецкая философія, столь идеальная и туманная, перешла въ плоскій и грубый матеріализмъ. И Гейне и матеріализмъ имѣли на насъ конечно не малое вліяніе, но это уже было вліяніе вредное, нездоровое, и русская литература была на столько крѣпка, что не могла подпасть ему въ такой степени, въ какой она подчинялась прежнимъ высокимъ явленіямъ германскаго генія. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ переводы произведеній изящной словесности съ нѣмецкаго были у насъ величайшею рѣдкостію, и мы почти вовсе не слѣдили за тѣмъ, что является до этой части въ Германіи. Только въ послѣднее время появились переводы нѣмецкихъ романовъ, именно у насъ имѣли значительный успѣхъ Шпильгагенъ и Ауэрбахъ. О романѣ Аузрбаха "Дача на Рейнѣ" мы позволимъ себѣ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

   Романъ этотъ читался у насъ очень усердно, хотя, право, вовсе не легко объяснить, въ чемъ состоитъ причина того неутомимаго вниманія и самого кроткаго терпѣнія, съ которымъ публика осиливала это произведеніе. Ибо, что читать "Дачу на Рейнѣ" есть немалый трудъ -- съ этимъ я думаю согласится каждый, кто ее читалъ. Но не въ этомъ ли и разгадка? Не обманула ли публику та чрезвычайная *серіозность*тона и изложенія, которою отличается авторъ? Намъ кажется, что такъ.

   Наша публика еще очень груба. Она еще не понимаетъ легкихъ, изящныхъ формъ. Сколько есть людей, которые ни за что не станутъ читать стиховъ только потому, что это стихи, слѣдовательно пустяки. Сколько есть такихъ, которые готовы бросить чтеніе "Войны и Мира", сказавши: "Стану я читать побасенки! Вымышленныя происшествія!" И вслѣдъ за тѣмъ они готовы съ величайшимъ вниманіемъ погрузиться въ чтеніе "Русскаго Архива", или "Исторіи Россіи" Соловьева, нимало не догадываясь, что цѣлая библіотека историческихъ сочиненій не можетъ дать имъ такого проникновенія въ духъ событій, какое они могли бы найти въ "Войнѣ и Мирѣ".

   И такъ, у насъ есть расположеніе къ *важнымъ матеріямъ,*къ сочиненіямъ дѣловымъ и серіознымъ, чуждымъ легкомысленныхъ украшеній. Въ качествѣ такого произведенія должна была понравиться и *Дача на Рейнѣ,*этотъ солиднѣйшій изъ всѣхъ романовъ. Вялый, слишкомъ подробный и послѣдовательный разсказъ, неумѣнье мѣтко изображать и ловко схватывать живые сцены и моменты, наконецъ отсутствіе опредѣленной мысли и опредѣленнаго интереса, все это возмѣщалось съ избыткомъ тѣмъ, что романъ безпрестанно касается самыхъ важныхъ вопросовъ, переполненъ разсужденіями, сентенціями, всевозможными взглядами на природу, людей, церковь, воспитаніе, Старый и Новый свѣтъ, и пр. и пр.

   Пусть однако же тѣ, которые прочитали романъ, скажутъ по совѣсти: что у нихъ осталось по прочтеніи, какое опредѣленное впечатлѣніе, какое живое лицо или чувство! Едва ли на это можно дать ясный отвѣтъ.

   Во первыхъ, какая идея романа, какой его главный предметъ? Въ хвалебномъ предисловія И. С. Тургенева, помѣщенномъ въ началѣ перевода, говорится слѣдующее: "Съ увѣренностію можемъ мы сказать, что недостатки (Ауэрбаха) почти не существуютъ въ предстоящемъ романѣ, между тѣмъ какъ всѣ великія достоинства творца Шварцвальдскихъ разсказовъ развернулись въ немъ съ полнотою еще небывалой. Еще никогда Ауэрбахъ не задавалъ себѣ *болѣе широкой задачи,*не захватывалъ ее такъ глубоко и не исполнялъ ее съ такимъ совершенствомъ" (стр. 6). Но въ чемъ состоитъ эта "широкая задача", о томъ г. Тургеневъ не говоритъ ни слова, не дѣлаетъ и намека.

   Въ самомъ концѣ романа редакція "Вѣстника Европы", имѣвшая полный досугъ обдумать свои слова, такъ какъ романъ печатался въ ея журналѣ *шестнадцать мѣсяцевъ*сряду, опредѣляетъ задачу романа слѣдующимъ образомъ: "Вѣчный процессъ и борьба матеріальнаго богатства съ бѣдностію и духовной нищеты, узкаго эгоизма съ богатствами душевными, съ широкими, великодушными помыслами, съ любовью объемлющею все человѣчество, какъ этотъ процессъ и эта борьба совершаются на самыхъ различныхъ ступеняхъ развитія недѣлимыхъ, въ самыхъ различныхъ общественныхъ положеніяхъ, -- вотъ задача автора". (См. *Вѣстн. Евр.,*1869, Дек. стр. 667).

   Признаемся, мы не находимъ въ этихъ словахъ ничего опредѣленнаго, и не видимъ, какъ они могутъ относиться къ роману Ауэрбаха. Конечно, въ мірѣ вѣчно совершается борьба добра со зломъ; но зато эту тему можно отыскать въ каждомъ романѣ. Точно также мы находимъ, что почтенной редакціи только вслѣдствіе ея постояннаго увлеченія "любовью ко всему человѣчеству" и всегдашняго сочувствія къ борьбѣ бѣдныхъ противъ богатыхъ, показалось, что эта любовь и эта борьба отражены и въ романѣ Ауэрбаха. Гражданскій и экономическій протестъ есть конечно лучшее украшеніе каждой статьи, каждаго журнала и каждаго романа. Но, къ величайшему огорченію "Вѣстника Европы", мы должны положительно сказать, что Ауэрбахъ отнюдь не писалъ свой романъ на эту общую тему.

   Что же отсюда слѣдуетъ? Если г. Тургеневъ промолчалъ, если редакція ничего не нашла сказать, кромѣ неопредѣленныхъ, ничего не обозначающихъ фразъ, то ясно, что предметъ романа очень неясенъ и задача его нимало не бросается въ глаза.

   Попробуемъ, однакоже, указать какія нибудь общія черты. Все дѣло въ "Дачѣ на Рейнѣ" вертится около невольничества и войны въ Соединенныхъ Штатахъ за освобожденіе Негровъ. Въ этомъ событіи Ауэрбахъ видитъ величайшее происшествіе современной исторіи, новую побѣду идеи свободы, новый важный шагъ въ прогрессѣ человѣчества. Вссь романъ проникнуть самою теплою вѣрою въ общечеловѣческій прогрессъ, и спеціальная его цѣль кажется вся состоитъ въ изображеніи того *отношенія, въ которомъ находится Германія къ великому событію,*т. е. къ освобожденію Негровъ. Нѣкто Зонненкампъ, бывшій торговецъ неграми, является въ Германію и добивается здѣсь баронства испокойной и почетной жизни. Но Германія, какъ скоро открылось, это онъ такой, извергаетъ его изъ своей среды. Въ Германіи живетъ множество прекраснѣйшихъ людей, почти чуждыхъ человѣческихъ слабостей и проникнутыхъ самымъ чистымъ духомъ свободы. Такимъ образомъ въ наставники къ Роланду, сына Зонненкампа, попадаетъ несравненный юноша Эрихъ, и дѣло кончается тѣмъ, что сынъ продавца невольниковъ ѣдетъ вмѣстѣ съ своимъ учителемъ сражаться за негровъ. Романъ подробно изображаетъ, какъ духъ разума, свободы, здраваго и глубокомысленнаго взгляда на вещи живетъ въ профессорахъ и въ профессоршахъ, и ихъ дѣтяхъ, и какъ семейство Зонненкампа попавши въ эту удивительную среду, принуждено покоряться ей и оставить пороки и предразсудки, вывезенные изъ невольничьихъ штатовъ Сѣверной Америки. Словомъ, это -- очевидное прославленіе Германіи, превозвесеніе ея образованности, гуманнаго духа, педагогическихъ пріемовъ, всей мудрости, которую она наслѣдовала отъ своихъ ученыхъ, философовъ и поэтовъ.

   Чтобы убѣдиться въ этомъ глубоко-національномъ, жарко-патріотическомъ характерѣ романа Ауэрбаха, стоитъ прочесть, напримѣръ, въ самомъ концѣ слѣдующія слова Эриха, которыя онъ пишетъ изъ Америки домой.

   "Наша благословенная Германія! Въ былое время переселенцы уносили съ собой въ чужія страны изображенія своихъ боговъ; въ настоящій вѣкъ мы, нѣмцы, всюду куда идемъ, беремъ съ собой своихъ поэтовъ, философовъ и музыкантовъ. Посреди тревоги общественной и частной жизни, безсмертные геніи неизмѣнно продолжаютъ стоять во главѣ умственнаго и нравственнаго существованія людей, пробуждая въ нихъ своего рода религіозное настроеніе, стремленіе ко всему прекрасному и великому".

   "Во время первой великой войны, съ помощію которой Новый Свѣтъ старался отстоять свою независимость, германскіе государи продавали своихъ подданныхъ, посылая ихъ въ Америку сражаться за англичанъ".

   "Нынѣ все далеко ушло впередъ: нѣмцы тысячами поступаютъ въ войско сѣверянъ; французскіе переселенцы составляютъ цѣлые отдѣльные полки зуавовъ, гдѣ команда отдается на французскомъ языкѣ. Но лучшими солдатами считаются ирландцы и нѣмцы.

   "Я ожидаю въ будущемъ поэта, который поставитъ себѣ задачею -- изобразить *великую драму нашего времени --*борьбу цезаризма съ стремленіемъ къ самоуправленію. Онъ въ величавыхъ картинахъ представитъ, какъ *народы, моремъ отдаленные отъ воюющихъ сторонъ стекались къ нимъ на помощь*и храбро дрались за общее дѣло". *(Дача на Рейнѣ,*т. III, стр. 330 и 331).

   Очевидно, Ауэрбахъ хотѣлъ самъ нарисовать одну изъ такихъ картинъ; его романъ есть изображеніе частицы великой драмы, именно насколько въ этой драмѣ участвовала его любезная Германія.

   Вотъ идея, которая, намъ кажется, нѣсколько связываетъ романъ въ одно цѣлое. Несмотря, однакоже, на то, что толки объ Америкѣ и о невольничествѣ встрѣчаются на каждой страницѣ, что Эрихъ, Вейдеманъ и другіе мудрые мужчины и женщины весьма постоянно и пространно сочувствуютъ освобожденію негровъ и напитываютъ своимъ либеральнымъ духомъ мальчика Роланда (въ описаніи воспитанія котораго состоитъ самая значительная часть романа), трудно сказать, чтобы идея великаго событія выступала въ романѣ съ жизненной опредѣленностію и яркостію. Она является въ видѣ сухой и отвлеченной формулы, и читатель, несмотря на всѣ усилія автора, все-таки не скажетъ, что передъ нимъ раскрылся глубокій смыслъ дѣла и что онъ вполнѣ уразумѣлъ горячее содѣйствіе и сочувствіе этому дѣлу со стороны Германіи.

   Впрочемъ, въ этомъ романѣ все отвлеченно. Люди дѣйствуютъ не по живымъ побужденіямъ, а по нѣкоторымъ правиламъ, и даже проводятъ свое время главнымъ образомъ въ томъ, что разсуждаютъ. Разсужденіямъ, общимъ положеніямъ, всякаго рода прекраснымъ изрѣченіямъ нѣтъ конца. Тутъ никто не разговариваетъ, а всѣ только и дѣлаютъ, что читаютъ другъ другу лекціи и рѣшаютъ другъ передъ другомъ разные историческіе и нравственные вопросы. Русскій читатель на каждой страницѣ удивляется этимъ нѣмцамъ, которыхъ вся жизнь состоитъ въ затверживаніи и безпрестанномъ пережевываніи разныхъ *мыслей!*

   Мысли эти большею частію недурны, довольно благородны и довольно вѣрны, но, по несчастію, всѣ сбиваются на такія наивныя тавтологіи, на такія избитыя общія мѣста, что изъ нихъ, какъ ни бейся, не выжмешь ни капли реальнаго интереса, никакого приложенія къ дѣйствительной жизни.

   Вотъ напримѣръ одно разсужденіе:

   "Человѣкъ, который только страдаетъ, стоитъ на одной ступени съ животнымъ, не умѣющимъ справиться ни съ какой бѣдой. Человѣческая сила начинается тамъ, гдѣ ты даешь себѣ отчетъ въ твоемъ страданіи и трудишься надъ тѣмъ, чтобы подчинить его своему разуму и волѣ. *Отдаваясь горю безъ борьбы, ты дѣлаешь невозможнымъ свое нравственное выздоровленіе.*Ободрись же и вооружись мужествомъ. *Если въ тебѣ есть что-либо такое, за что ты считаешь себя достойнымъ собственной любви. то ты вправѣ ожидать ея и отъ другихъ".*(Д. на P., т. III, стр. 146).

   Это утѣшеніе въ горѣ, по нашему мнѣнію, есть непростительная болтовня, едва ли способная кого нибудь утѣшить. Какъ будто человѣка въ большомъ несчастіи можетъ ободрить мысль, что твердость духа докажетъ его превосходство надъ животными, надъ коровами и лошадьми? И съ чего взялъ почтенный нѣмецъ, что каждый человѣкъ всегда и непремѣнно считаетъ себя *достойнымъ собственной любви?*Такова быть можетъ натура у нѣмцевъ, но мы часто бываемъ недовольны собою.

   Предъидущія сентенціи принадлежатъ Эриху, главному представителю Германіи въ романѣ. Этотъ Эрихъ такъ уменъ и хорошъ, что невозможно и разсказать. За то онъ и сыплетъ всякія разсужденія и общія мѣста цѣлыми коробами, цѣлыми ворохами. Даже когда онъ разговариваетъ съ дѣвушкою, въ которую страстно влюбленъ, то и ей все читаетъ лекціи. Вотъ одна сцена:

   "Ахъ, какъ бы я желала быть этой поселянкой! -- воскликнула Манна".

   "Извините, -- возразилъ Эрихъ, -- если я осмѣлюсь выразить удивленіе, что слышу подобныя рѣчи отъ васъ".

   "Что же тутъ удивительнаго?"

   "Вы сегодня выказали такую ясность ума, что я рѣшительно не понижаю, какъ можете вы выражать такого рода пустыя желанія. Что вы хотите этимъ сказать: желала бы я быть другою? Будь вы другая, вы уже не были бы ею (?). Затѣмъ, еслибы вы въ новомъ положеніи сохранили сознаніе вашего прежняго *я,*вы опять таки не были бы другою. Такого рода фразы не только противорѣчатъ здравому смыслу, но еще, на мой взглядъ, грѣшатъ противъ религіи".

   "Манна остановилась, а Эрихъ продолжалъ:

   "Мы должны быть тѣмъ, чѣмъ насъ создала высшая воля, которую мы осмѣливаемся называть Богомъ. И *въ томъ, что мы есть, обязаны мы находитъ наше счастье,*будь мы бѣдны, или богаты, прекрасны, или дурны собой". (Д. на P., т. III, стр. 74).

   Вотъ какую глубокомысленную рѣчь пришлось выслушать Маннѣ за то, что она пожелала быть поселянкой. Признаемся, желаніе Манны намъ какъ нельзя болѣе понятно; философскія же возраженія Эриха намъ кажутся ужасною наивностію, изъ которой ровно ничего не слѣдуетъ. Все, говоритъ онъ, зависитъ отъ Бога. Что же? Неужели поэтому нельзя ничего и желать? Впрочемъ въ словахъ Эриха кажется можно отыскать нѣкоторую мысль. "Въ томъ, что мы есть", говоритъ онъ, "обязаны мы находить наше счастье". Если вникнуть какъ слѣдуетъ, то мы найдемъ, что это мысль нѣмецкая въ высокой степени. Всякій христіанинъ знаетъ, что нужно терпѣть и не роптать на свою судьбу, а покоряться волѣ Божіей; только нѣмцу можетъ прійти въ голову, что онъ обязанъ не только терпѣть, но и *быть счастливымъ*своею судьбою. И, что всего удивительнѣе, нѣмецъ имѣетъ способность исполнить столь трудную обязанность: сказалъ себѣ твердо и ясно, что онъ *долженъ быть*счастливъ, и дѣйствительно будетъ счастливъ. Онъ запретитъ себѣ мечтать и желать, онъ велитъ себѣ довольствоваться ничтожнѣйшимъ поприщемъ, и будетъ чувствовать себя и благополучнымъ, и достойнымъ нѣжной собственной любви.

   Чтобы не ограничиваться этими слабыми образчиками, раскроемъ на удачу второй, средній томъ и выпишемъ сподрядъ нѣсколько тѣхъ изрѣченій, которыми такъ густо усѣянъ романъ Ауэрбаха.

   "Мы посланы въ міръ не для того, чтобы безславно и безслѣдно умирать", (стр. 105).

   "Знаніе и воля даны намъ какъ орудія жизни, а не смерти" (стр. 105).

   "Любовь не порождаетъ ни смерти, ни лицемѣрія, ни измѣны" (стр. 105).

   "Человѣкъ, который созналъ свои заблужденія, можетъ снова выйти на истинный путь" (стр. 105).

   "Разумный и честный человѣкъ также страстно желаетъ исполнять свой долгъ, какъ другіе стремятся наслаждаться " (стр. 106).

   " Знаніе и сила воли даны намъ какъ орудія жизни, а не смерти" (стр. 10S).

   "Будь снисходителенъ съ богатымъ и сильнымъ міра сего, которымъ такъ много дано, что въ нихъ невольно умолкаетъ голосъ совѣсти и слабѣетъ сознаніе долга" (стр. 110).

   "Не въ развлеченіи слѣдуетъ искать утѣшенія, а въ силахъ собственной души, и одно только размышленіе можетъ закалить человѣка противъ всѣхъ случайностей" (стр. 111).

   "Люди безпечные и лѣнивые склонны ссылаться на то, что одинъ человѣкъ будто бы ничего не въ состояніи сдѣлать. Но вѣдь народъ и человѣчество состоятъ изъ отдѣльныхъ личностей" и пр. (стр. 112).

   " Воспитательная дисциплина въ томъ именно и заключается, чтобы пріучать мальчика къ послѣдовательному труду" и пр. (стр. 112).

   "Жизнь рѣдко даетъ человѣку то, къ чему онъ имѣетъ наклонность, но гораздо чаще ставитъ его въ положеніе, вовсе несоотвѣтствующее его вкусамъ" (стр. 112).

   "Знаніе можетъ дать спокойствіе, но не счастіе" и пр. (стр. 113).

   "Религія есть именно та пища, въ которой нуждается молодая душа" (стр. 113).

   "Человѣкъ невѣрующій въ Бога никогда не можетъ создать ничего великаго" и пр. (стр. 114).

   "Особенность богатыхъ людей заключается въ томъ, что они живутъ на свѣтѣ, какъ въ гостяхъ" (стр. 115).

   "Мы, женщины, находимъ полноту жизни только въ любви" (стр. 115).

   "Посредственныя натуры, говоритъ Шиллеръ, знаменуютъ свое существованіе тѣмъ, что онѣ дѣлаютъ, -- возвышенныя тѣмъ, что они есть" (стр. 115).

   Мы могли бы выбрать другое, еще болѣе характерное мѣсто; но и этихъ выписокъ совершенно достаточно чтобы оцѣнить достоинство сентенцій Ауэрбаха; это общія положенія, представляющія или общеизвѣстныя ходячія истины, или же мысли, хотя имѣющія свою вѣрную сторону, но не достигшія опредѣленности и расплывающіяся.

   Публика приняла это въ серьезъ: иностранное имя автора и чужой народъ, среди котораго происходитъ дѣйствіе, конечно способствовали иллюзіи, *и*"Дача на Рейнѣ" читалась съ трудамъ, но тѣмъ съ большимъ усердіемъ. Теперь читатели вѣроятно сознаются, что трудъ ихъ не принесъ никакихъ плодовъ, и что даже въ памяти ихъ не осталось ни одной изъ безчисленныхъ сентенцій романа.

VI.
**Александръ Гумбольдтъ.**

   Въ концѣ романа Ауэрбаха есть очень забавная черта.

   Въ романѣ дѣйствуетъ нѣкто Вейдеманъ, человѣкъ уже пожилой и истинный образецъ всѣхъ достоинствъ, совершеннѣйшій изъ всѣхъ совершенныхъ людей, описанныхъ намъ авторомъ.

   Когда Эрихъ уѣзжаетъ въ Америку, и пароходъ уже вышелъ въ открытое море, произошло весьма поучительное маленькое происшествіе:

   "Эрихъ вспомнилъ о клочкѣ бумаги, который Вейдеманъ на прощаніе сунулъ ему въ руку. Онъ прочелъ его теперь. На немъ стояли слѣдующія слова изъ заключительныхъ строкъ "Космоса" Гумбольдта:

   *"Межсду человѣческими племенами есть болѣе способныя къ развитію, болѣе облагороженныя образованіемъ, но всѣ одинаково имѣютъ право на свободу"*. (Т. III, стр. 315).

   Этими словами торжественно оканчивается четырнадцатая, предпослѣдняя книга романа.

   Тутъ все характерно. Страсть нѣмцевъ съ цитатамъ такъ велика, что мудрый Вейдеманъ на прощаніе съ юнымъ другомъ не нашелъ для него лучшаго подарка, какъ сунуть ему въ карманъ хорошенькую цитату.

   И цитата сама очень замѣчательна. Имя ея автора свидѣтельствуетъ о томъ преувеличенномъ благоговѣніи, съ которымъ нѣмцы создаютъ свои авторитеты и поклоняются имъ, а содержаніе какъ нельзя лучше подходитъ къ сентенціямъ Ауэрбаха: это -- совершенно общая, всѣмъ ясная, вполнѣ отвлеченная и безцвѣтная истина. Ужели кому-нибудь, кромѣ нѣмца, можетъ прійти въ голову сказать, что именно Гумбольдтъ есть авторъ этой истины, что это *его*мысль? Развѣ есть въ ней хоть малѣйшая особенность, принадлежащая Гумбольдту? Развѣ можетъ авторитетъ Гумбольдта что нибудь прибавить къ этой простои и ясной мысли? Развѣ можетъ эта мысль сколько нибудь характеризовать Гумбольдта?

   Какое страннѣйшее злоупотребленіе великихъ именъ!

   Какая безплодная и безконечная трата чернилъ, перьевъ и бумаги! Да, это ты Германія! Книги тебя заѣли, ты кажется думаешь, что только то и правда, что стоитъ въ какой нибудь книгѣ, и что солнце свѣтитъ только потому, что такъ написалъ Гумбольдтъ въ своемъ Коемосѣ!

   Мы сказали, что авторитетъ Гумбольдта преувеличенъ. Привязываемся къ этому удобному случаю, чтобы сказать нѣсколько словъ объ этомъ важномъ предметѣ.

   Германія, конечно, заслуживаетъ великаго уваженія за то, что усердно почитаетъ память и дѣла своихъ духовныхъ дѣятелей. Но всему есть мѣра; и въ такомъ прекрасномъ дѣлѣ возможны заблужденія, и въ немъ скептицизмъ не только допускается, а даже требуется, такъ какъ чѣмъ выше мы цѣнимъ духовную дѣятельность, тѣмъ строже должны отличать въ ней истинныя заслуги отъ мнимыхъ или несущественныхъ.

   Слава Гумбольдта безмѣрно велика. О ней еще недавно намъ напомнили разныя Гумбольдтовскія торжества, происходившія въ прошломъ году по случаю столѣтней годовщины дня его рожденія, 14 (2) сентября 1769. Какъ нарочно въ томъ же году приходилась годовщина Кювье (23 августа 1769), одного изъ геніальнѣйшихъ людей, какіе только были на землѣ. Контрастъ между поминками того и другаго былъ поразителенъ и невольно наводилъ на грустныя сближенія. Память Кювье, создавшаго цѣлыя науки, безмѣрно превышающаго Гумбольдта и силою генія и результатами, до которыхъ онъ дошелъ своею дѣятельностью, была празднована его соотечественниками весьма скромно. Гумбольдтъ же былъ. помянутъ чуть не на всемъ земномъ шарѣ, и въ честь его имени устроены были пышныя торжества. Въ "Русскомъ Вѣстникѣ" (1869, октябрь, статья *Гумбольдтовъ праздникъ)*читатели могутъ найти описаніе торжествъ, устроенныхъ по этому случаю въ Берлинѣ и въ Москвѣ. Не знаемъ, что было въ Америкѣ; очень вѣроятно, что была процессія съ факелами и стрѣляли изъ пушекъ.

   Разница, которая такъ ясно обнаружилась въ чествованіи памяти обоихъ ученыхъ, очевидно имѣетъ нѣкоторую связь съ современнымъ состояніемъ національностей, къ которымъ они принадлежатъ. Французамъ не до того, чтобы носиться съ славою своихъ представителей науки: французы слишкомъ заняты другими дѣлами и -- что главное -- имѣютъ притязаніе на славу и величіе другаго рода, на передовую роль въ политическомъ прогрессѣ человѣчества. Нѣмцы совершенно въ другомъ положеніи: въ политикѣ за ними нѣтъ важныхъ заслугъ, а въ мірѣ науки есть уже значительныя. Нѣмцамъ очень желательно поднять свое культурное значеніе какъ можно выше, и тѣнь помочь своимъ политическимъ дѣламъ, объединенію Германіи и инымъ, еще болѣе честолюбивымъ цѣлямъ. Что касается до Гумбольдта, то въ Берлинѣ его, очевидно, можно было слабитъ безъ конца и мѣры; ибо онъ былъ не только нѣмецъ, а даже Пруссакъ, слѣдовательно соединялъ въ себѣ всѣ условія, при которыхъ слава человѣка полезна его отечеству.

   Славу своихъ ученыхъ нѣмцы разносятъ и укрѣпляютъ по всему свѣту; весьма дѣйствительное средство для этого заключается въ томъ, что во всѣхъ странахъ существуютъ колоніи нѣмецкихъ ученыхъ, подобно тому, какъ во всѣхъ большихъ городахъ есть французскіе модистки и парикмахеры.

   Изъ рѣчи Дове, произнесенной въ Берлинской Академіи наукъ, мы видимъ, что празднество въ честь Гумбольдта имѣло въ весьма значительной степени національный характеръ. Дове вспоминаетъ о томъ, что онъ, познакомился съ Гумбольдтомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, когда "сознаніе, что всѣ говорящіе однимъ языкомъ составляютъ нераздѣльную націю, пустило глубокіе корни и получило живое выраженіе на съѣздѣ нѣмецкихъ естествоиспытателей". "Въ залѣ Пѣвческой Академіи впервые раздались одновременно всѣ нѣмецкіе діалекты со всею ихъ оргинальностію". Достойнымъ предсѣдателемъ этого съѣзда былъ Александръ Гумбольдтъ. Съ гордостію вспоминаетъ Дове, что въ числѣ членовъ были Леонольдъ фонъ-Бухъ и Гауссъ, "на челѣ котораго можно было прочесть гордую рѣчь Парацельза: *Англичане, Французы, Итальянцы, слѣдуйте вы за мною, а не я за вами!"*("Русск. Вѣстн." 1869. Окт. стр. 637).

   Въ залѣ театра, гдѣ тогда, сорокъ лѣтъ тому назадъ, пировали нѣмецкіе натуралисты, Гумбольдтъ велѣлъ поставить доску съ именами прежнихъ нѣмецкихъ естествоиспытателей. Во всю свою жизнь Гумбольдтъ покровительствовалъ ученымъ; но "нѣмецъ", говоритъ Дове, "предпочтительно могъ разсчитывать на его содѣйствіе." Извѣстно, что еще очень недавно французы занимали первое мѣсто въ естественныхъ наукахъ. Вернувшись изъ Америки, Гумбольдтъ восемнадцать лѣтъ жилъ въ Парижѣ, единственномъ мѣстѣ, гдѣ могъ найти пособія и помощниковъ для изданія своего путешествія. Но за тѣмъ онъ вернулся въ Берлинъ, "я полагаю потому, " говоритъ Дове, "что появленіе *Космоса,*по его убѣжденію, было возможно только въ средѣ мыслящей Германіи" (ст. 636).

   И такъ, нѣмцы славятъ своего Гумбольдта какъ національнаго героя, какъ одного изъ представителей своего народнаго духа. Но намъ какое до этого дѣло? Мы должны относиться къ нему со стороны; для насъ всё равно, къ какой націи принадлежитъ ученый; намъ слѣдуетъ цѣнить его только въ отношеніи къ его научнымъ заслугамъ. Намъ должно остерегаться, какъ бы насъ не обманули національные восторги другихъ народовъ, какъ бы не попасть намъ въ жалкую роль людей, которые повидимому преклоняются предъ наукой и восторгаются ея побѣдами, а въ сущности не способны цѣнить ихъ и только повторяютъ чужія слова, какъ попугаи.

   Мы воспользуемся для нашихъ замѣтокъ, сверхъ указанной статьи "Русскаго Вѣстника", еще небольшою книжкою подъ заглавіемъ: *Торжественное собраніе Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы 2-го сентября 1869 года, въ воспоминаніе столѣтней годовщины дня рожденія Александра фонъ-Гумбольдта.*Москва, 1869. Эта книжка содержитъ десять рѣчей и писемъ. Намъ кажется, что весьма небезъинтересно обратить вниманіе на нѣкоторые факты, которые тутъ содержатся, и которыхъ истинный смыслъ не трудно уразумѣть.

   Во первыхъ, научныя заслуги Гумбольдта, не только не такъ безмѣрно велики, какъ это обыкновенно воображаютъ люди несвѣдущіе въ естественныхъ наукахъ, но даже вовсе не могутъ равняться съ заслугами первостепенныхъ натуралистовъ. "Дѣйствительно", говоритъ H. А. Любимовъ въ своей любопытной и безпристрастной рѣчи, "если спросить, какія великія изобрѣтенія принадлежатъ Гумбольдту, какой кругъ явленій открытъ его проницательностію, какой законъ природы указанъ и разъясненъ имъ, то отвѣтъ будетъ отрицательнаго свойства: никакого открытія, которое можно было бы назвать великимъ, не соединено съ его именемъ." (Торж. Собр. ст. 86).

   Весьма интересно, что Гумбольдтъ самъ ясно сознавалъ малую научную важность своихъ трудовъ. Дове разсказываетъ, что въ минуту грустнаго настроенія Гумбольдтъ сказалъ ему: "Язнаю, что оставлю за собою лишь слабый слѣдъ на поприщѣ науки. " (Русск. Вѣстникъ, стр. 640).

   Еще краснорѣчивѣе другое, болѣе ясное и публичное признаніе, сдѣланное Гумбольдтомъ въ 1858 г., слѣдовательно уже въ самомъ концѣ жизни. Вѣроятно слава сперва очень была сладка Гумбольдту, и онъ усердно заботился о ея пріобрѣтеніи и распространеніи, но въ глубокой старости пропала наконецъ и любовь къ славѣ, и старикъ поставилъ выше ея любовь съ истинѣ. По поводу своей слишкомъ лестной біографіи, появившейся въ Biographie Universelle, онъ писалъ въ іюлѣ 1858 года къ Геферу, редактору этого изданія:

   "Дружба имѣетъ свои миѳы, но эта миѳологія находитъ вѣрующихъ лишь въ тѣсномъ кружкѣ друзей, которые готовы смѣшивать постоянный жаръ къ труду, желаніе достигнуть цѣлей съ самымъ успѣхомъ. Долгое терпѣніе жить (la longue patience de vivre) увеличиваетъ извѣстность, *которая еще не есть слава.*Я, по счастію, не слѣпъ относительно самого себя, такъ какъ *постоянно окруженъ былъ людьми, которые были выше меня.*Жизнь моя была полезна наукѣ *не столько тѣмъ немногимъ, что я самъ произвелъ,*сколько тою ревностію, какую я обнаруживалъ, чтобы воспользоваться выгодами своего положенія. Я всегда былъ вѣрнымъ цѣнителемъ чужаго достоинства, имѣлъ даже нѣкоторую проницательность въ угадываніи раждающагося достоияства. Мнѣ пріятно думать, что пройдя, что, сдѣлавъ ошибку пройти (ayant eu tort de traverser) слишкомъ разнообразное поле научныхъ интересовъ, я оставилъ нѣкоторые слѣды тамъ гдѣ прошелъ." *(Торж. Собр.*стр. 86).

   Люди свѣдущіе должны согласиться, что это не про" сто *скромный,*а совершенно правдивый и безъукоризненно правильный отзывъ. Скромничать Гумбольдту было вовсе незачѣмъ; скорѣе можно сказать, что ему наконецъ опротивѣли преувеличенныя похвалы, которыхъ несправедливость онъ такъ ясно видѣлъ. Заслуги же свои онъ въ этомъ письмѣ не только признаетъ, а даже настаиваетъ на нихъ, напримѣръ похваляясь *проницательностію*въ угадываніи раждающагося достоинства.

   Спеціалисты хорошо знаютъ истинное значеніе Гумбольдта. Физикъ, ботаникъ, зоологъ, физіологъ, астрономъ -- никто не считаетъ Гумбольдта въ числѣ своихъ первостепенныхъ авторитетовъ, всякій ставитъ его ниже многихъ и многихъ менѣе славныхъ ученыхъ, бывшихъ однако настоящими двигателями науки. "Космосъ" Гумбольдта есть книга обманчивая, весьма привлекательная по содержанію, по подробностямъ, по эрудиціи, но весьма слабая по научному духу и не могущая посвятить въ пріемы истинной науки ни профановъ, ни начинающихъ ученыхъ.

   Если же такъ, то въ чемъ же состоятъ права Гумбольдта на его всемірную славу? За что собственно его такъ превозносятъ? Обыкновенно ему приписываются два достоинства, о которыхъ онъ, однако же, ни слова не говоритъ въ письмѣ къ Геферу: 1) всеобщность знанія, всеобъемлющую ученость и 2) прекрасное изложеніе, мастерство писать.

   Вице-президентъ Московскаго Общества Испытателей природы, А. Гр. Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ говоритъ. объ этомъ такъ:

   "Вотъ въ чемъ главнѣйше состоитъ слава Гумбольдта: въ томъ, что онъ, при всей и прямо изо всей, съ тою именно цѣлью до мельчайшихъ подробностей подмѣченной разнообразности явленій, орлинымъ полетомъ и всеобъемлющимъ взоромъ, съ необъятной высоты, открывающей новые обширные кругозоры, *обнялъ всю цѣлость, всю гармонію*природы, и передалъ намъ правдиво и *съ неподражаемымъ искусствомъ изобразилъ*не отдѣльные ея обломки, *а всю ея величавую совокупность въ стройной ея цѣлости."*(Торж. Собр. стр. 4).

   Подобное мнѣніе въ разныхъ видахъ повторяется почти всѣми, это восхвалялъ Гумбольдта. Между тѣмъ въ этомъ мнѣніи весьма позволительно усумниться. Изъ того, что Гумбольдтъ писалъ о столь многихъ и различныхъ предметахъ, еще не слѣдуетъ, что онъ непремѣнно уловлялъ ихъ единство и гармонію. Точно также,изъ его изящнаго слога и богатой эрудиціи не слѣдуетъ еще, что онъ выбиралъ для своихъ предметовъ наилучшіе пріемы изложенія.

   Всякій, читавшій Гумбольдта, долженъ согласиться, что изъ его сочиненій едва-ли можно почерпнуть глубокіе взгляды, что-нибудь похожее на философское воззрѣніе на міръ. Подобнаго воззрѣнія мы не станемъ и отыскивать въ Гумбольдтѣ, если вспомнимъ существенныя черты его научнаго направленія, черты довольно хорошо извѣстныя.

   По своимъ философскимъ взглядамъ Гумбольдтъ былъ, въ сущности, матеріалистъ. Матеріализмъ -- дѣла очень обыкновенное у натуралистовъ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о мертвой природѣ, у физика, химика, астронома, матеріализмъ не мѣшаетъ достигать великихъ открытій и результатовъ. Извѣстно, напримѣръ, что Лапласъ, авторъ "Небесной механики", былъ матеріалистъ. Но для той задачи, которую поставилъ себѣ Гумбольдтъ, для обозрѣнія природы въ ея цѣлости и разнообразіи, матеріализмъ есть точка зрѣнія слишкомъ скудная и узкая, никоимъ образомъ не способная принести насъ къ глубокому разумѣнію природы. Съ другой стороны, въ укоръ Гумбольдту можно поставить и то, что его матеріализмъ не имѣлъ даже достоинства смѣлости и послѣдовательности. Гумбольдтъ не былъ ревностнымъ поклонникомъ и проповѣдникомъ этого воззрѣнія; онъ держался его, очевидно, только *за неимѣніемъ лучшаго,*за невозможностію усвоить себѣ какія-нибудь иныя начала.

   По своей методѣ, по научнымъ пріемамъ, Гумбольдтъ былъ грубый эмпирикъ. Онъ мало былъ способенъ къ пріемамъ болѣе сложнымъ, болѣе требующимъ апріорической работы ума. Едва-ли не лучшая его заслуга есть изобрѣтеніе *изотермическихъ линій,*то есть нагляднаго изображенія голыхъ фактовъ, чисто эмирическихъ данныхъ. При такомъ складѣ ума, *гармонія*природы, ея *стройность*и т. п. была очевидно область мало доступная для Гумбольдта, и ничего нѣтъ мудренаго, что онъ не успѣлъ въ ней что-либо сдѣлать.

   Наконецъ, что касается до прекраснаго слога и богатой эрудиціи Гумбольдта, то нельзя не видѣть, что они не всегда находятся въ надлежащей соразмѣрноcти съ предметомъ, къ которому прилагаются. Слогъ часто *слишкомъ*прекрасенъ и эрудиція *слишкомъ*богата. Напыщенность и страсть къ печатной бумагѣ, столь обыкновенныя у Нѣмцевъ, очевидно свойственны и Гумбольдту, и ихъ вы въ какомъ случаѣ нельзя ставить ему въ до"стоинство. Его сочиненія отчасти породили и поддерживаютъ то безконечное фразерство о природѣ, которымъ переполнена нѣмецкая ученая и особенно популярная литература по естественнымъ наукамъ. Звучныя фразы о самыхъ простыхъ предметахъ, восторженные возгласы по поводу самыхъ сухихъ мыслей, потоки краснорѣчія, основаннаго на странномъ увлеченіи словами и отвлеченными понятіями, -- эти недостатки находятъ себѣ нѣкоторое оправданіе въ авторитетѣ Гумбольдтовыхъ сочиненій. Популярная литература по естественнымъ наукамъ въ сущности есть родъ фальшивый: Гумбольдтъ больше всякаго другаго узаконилъ существованіе этого рода своими различными попытками изящнаго изложенія *взглядовъ*на природу и общихъ обзоровъ. Что касается до эрудиціи, то она, очевидно, составляетъ слабость нѣмецкихъ натуралистовъ. Многіе изъ нихъ подъ конецъ даже вовсе бросаютъ изслѣдованіе природы и пускаются въ міръ книгъ, въ которомъ будто чувствуютъ себя привольнѣе. Такъ, напримѣръ, случилось съ знаменитымъ Шлейденомъ.

   Намъ кажется, что такой взглядъ на Гумбольдта въ значительной мѣрѣ можетъ быть подтвержденъ тѣмъ любопытнымъ письмомъ Шиллера къ Кернеру, которое привелъ въ своей рѣчи г. Любимовъ, -- за что г. Любимову нельзя не сказать спасибо. Письмо писано 6-го Августа 1797 года; слѣдовательно тогда Гумбольдту было 28 лѣтъ, а Шиллеру 35. Великій поэтъ, по нашему мнѣнію, обнаружилъ въ этомъ случаѣ геніальную чуткость.

   "Объ Александрѣ Гумбольдтѣ", писалъ онъ, "я не имѣю еще опредѣленнаго сужденія; боюсь однако, что несмотря на всѣ его таланты и неустанную дѣятельность, *онъ въ своей наукѣ никогда не сдѣлаетъ чего-либо великаго.*Я не замѣтилъ въ немъ ни искры чистаго, объективнаго интереса, и, *какъ это ни страннымъ можетъ показаться,*я нахожу въ немъ, при всемъ громадномъ обиліи матеріала, *скудость пониманія*(Dьrftigkeit des Sьmes), что въ его предметѣ худшій недостатокъ. Это голый, рѣжущій разсудокъ, который хочетъ природу, всегда необъятную, безстыдно (schamlos) измѣрить и, съ дерзостію, которой я не понимаю, сдѣлать для нея масштабомъ свои формулы, которыя часто суть только пустыя слова и всегда узкія понятія. Короче сказать. мнѣ кажется, что *онъ слишкомъ грубый органъ для cвoeгo предмета и слишкомъ ограниченный человѣкъ разсудка*(zu beschrдnkter Verstandesmensch). У него нѣтъ силы воображенія и недостаетъ, по моему сужденію, дара, необходимаго для его науки; ибо должно прозрѣвать природу, прочувствовать ее въ ея отдѣльныхъ явленіяхъ, какъ и въ высшихъ законахъ. Александръ *внушительно дѣйствуетъ на многихъ*и выигрываетъ сравнительно съ братомъ тѣмъ, что *умѣетъ дать себѣ цѣну,*но по абсолютной оцѣнкѣ я не могу ихъ и сравнивать". (Торж. Собр., стр. 71).

   Въ этомъ письмѣ есть и мѣткіе намеки на то, почему, несмотря на отсутствіе истинной геніальности, Гумбольдтъ успѣлъ пріобрѣсти себѣ такую огромную славу. Причину заключалась въ его необыкновенномъ умѣньи *давать себѣ цѣну*и *внушительно дѣйствовать*на людей. Лучшая сторона этихъ усилій пріобрѣсти сколь возможно большее значеніе въ главахъ другихъ людей, конечно, состоитъ въ томъ, на что такъ настойчиво указываетъ Гумбольдтъ въ своемъ письмѣ съ Геферу, въ постоянномъ *покровительствѣ*другимъ ученымъ, въ содѣйствіи *чужимъ трудамъ.*Въ этомъ отношеніи Гумбольдтъ твердо и неизмѣнно держался того образа дѣйствій, который былъ вмѣстѣ и самымъ благороднымъ, и самымъ выгоднымъ для его собственной славы. Обстоятельства его жизни чрезвычайно много способствовали ему на этомъ пути. Гумбольдтъ представляетъ прекрасный примѣръ богатаго и знатнаго человѣка, который, хотя не имѣлъ генія, но всею душою предался научнымъ интересамъ и сдѣлалъ для нихъ все, что можно было сдѣлать при его средствахъ, талантахъ и неутомимой дѣятельности. Симпатія, которую возбуждалъ и возбуждаетъ Гумбольдтъ, главнымъ образомъ зависитъ отъ того, что вся корысть его трудовъ состояла въ славѣ, и всѣ выгоды, которыхъ онъ искалъ, -- въ успѣхахъ науки. Истинный образецъ нѣмца по усердію, терпѣнію и стремленію отдавать свою жизнь на служеніе духовнымъ интересамъ.

   Дѣйствительная же роль Гумбольдта въ ученомъ мірѣ и въ движеніи наукъ, намъ кажется, очень хорошо характеризуется слѣдующими словами г. Любимова:

   "Гумбольдтъ былъ однимъ изъ главныхъ управляющихъ корпуса рабочихъ науки, собирающимъ и располагающимъ матеріалы, указывающимъ работы. Въ теченіе болѣе полустолѣтія, онъ былъ однимъ изъ великихъ центровъ научнаго движенія и находился въ близкихъ сношеніяхъ со всѣмъ, что только было замѣчательнаго въ ученомъ мірѣ. Его труды еще въ прошломъ столѣтіи доставили ему почетную извѣстность, возраставшую съ лѣтами. *Его высокое общественное положеніе, связи, богатство, въ соединеніи съ путешествіями,*дали ему всюду доступъ и доставили ему личную близость съ свѣтилами ученаго міра. Соединяя въ себѣ два столѣтія ученыхъ трудовъ, имѣя въ рукахъ, по своимъ громаднымъ сношеніямъ, всѣ нити научнаго движенія вѣка, *онъ естественно являлся, передъ лицемъ всего міра, какъ бы оффиціальнымъ представителемъ науки и корпуса ученыхъ, --* возведенный на этотъ постъ единодушнымъ и безспорнымъ, хотя и негласнымъ избраніемъ всего ученаго міра". (Торж. Собр., стр. 87). Во всякомъ случаѣ, Гумбольдтъ, очевидно, не принадлежитъ съ числу тѣхъ геніевъ, слова которыхъ многозначительны какъ изрѣченія пророковъ и стихи великихъ поэтовъ. "Космосъ", на который нѣмцы смотрятъ какъ на какое-то евангеліе естественныхъ наукъ, нимало не заслуживаетъ этой чести. Цитата, которую Вейдеманъ всунулъ въ карманъ Эриха, была бы смѣшна, даже если бы заключала въ себѣ не столь избитое и общее положеніе.

VII.
**Англійскіе романы.**

   Для полноты круга нашихъ замѣтокъ, скажемъ нѣсколько словъ объ англійской литературѣ. Вліяніе этой литературы у насъ быстро возрастаетъ. Укажемъ на, англійскую философію, не только являющуюся въ переводахъ, но и породившую послѣдователей, наприм. г. Троицкаго.

   Если же взять изящную словесность, составляющую собственно предметъ настоящей статьи, то извѣстно, что уже давно англійскіе романы занимаютъ первое мѣсто между нашими переводными романами. Притокъ ихъ въ нашу литературу самый правильный и постоянный. Почти каждый журналъ считаетъ долгомъ помѣщать ихъ *непрерывно*одинъ за другимъ, даже иногда по два за разъ. Такимъ образомъ выходитъ, что всякое замѣчательное произведеніе этого рода непремѣнно является на русскомъ языкѣ, чего нельзя сказать ни о нѣмецкихъ, ни даже о французскихъ романахъ.

   При такой любви нашей читающей публики къ англійскимъ романамъ, очень рѣзко бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство: всѣ эти романы усердно читаются, но ни одинъ изъ нихъ никогда не возбуждаетъ толковъ, не вызываетъ никакихъ споровъ и сужденій. Романъ прочитывается, не оставляя послѣ себя никакого слѣда, -- и читатели принимаются за новый. Произведенія самыхъ первыхъ знаменитостей -- Диккенса, Теккерея испытываютъ туже самую судьбу. Какъ ни пространны и плодовиты критическіе отдѣлы иныхъ изъ нашихъ журналовъ, никогда они не останавливаютъ своего вниманія на вновь появляющихся произведеніяхъ англійской музы; и даже фельетонистъ, перечисляющій содержаніе послѣднихъ журнальныхъ книжекъ, забываетъ упомянуть о томъ, что кончился такой-то романъ, и начался новый.

   Отчего же такъ выходитъ? Какая причина этого невниманія? Вотъ случай, въ которомъ намъ живо представляется возможность нѣкоторой филиппики противъ русской критики. Любители англійской литературы повидимому имѣли бы полное право вознегодовать на эту критику. Почему она, въ самомъ дѣлѣ, не занимается разборомъ такихъ прекрасныхъ произведеній? Почему она предпочитаетъ безъ конца толковать и препираться о какихъ нибудь весьма посредственныхъ доморощенныхъ повѣстяхъ, а o самыхъ лучшихъ изъ англійскихъ романовъ не хочетъ сказать ни единаго слова? Не потому ли, что она мало уважаетъ изящное, не умѣетъ цѣнить художественныхъ красотъ?

   Едва ли, однако же, такіе упреки были бы справедливы. Какъ ни мало мы довольны состояніемъ русской критики, ея молчаніе объ англійской словесности представляетъ фактъ такой явный, обширный и давнишній, что мы должны признать въ немъ какой-нибудь законный смыслъ. Если не говорили, значитъ не было живой и ясной потребности говорить; напрасно было бы навязывать людямъ интересы, которыхъ они не имѣютъ.

   Современная англійская изящная словесность, точно также какъ и англійская философія, представляютъ сочетаніе слѣдующихъ свойствъ: онѣ отличаются чрезвычайной *доброкачественностію*и постояннымъ недостаткомъ *глубины.*Этотъ умный народъ какъ будто чувствуетъ всѣ темныя и грозныя опасности, сопряженныя съ плаваніемъ въ высшихъ областяхъ мысли и поэзіи, и потому находитъ болѣе практическимъ и благоразумнымъ не отваживаться на такое плаваніе, а оставаться въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ все ясно и спокойно. Собирать факты, держаться крѣпко руководства опыта *и*не ступать ни шагу туда, гдѣ онъ насъ оставляетъ, рисовать картины быта, нѣчто въ родѣ комедіи нравовъ, изображать семейныя сцены и событія вседневной жизни, и давать себѣ волю и отдыхъ только въ порывахъ юмора, лишь изрѣдка переходящаго въ глубокую грусть, въ то, что Гоголь назвалъ *незримыми слезами, --* вотъ твердая почва, на которой держатся англичане. Она тверда, но едва ли заставитъ насъ забыть о другихъ, болѣе тревожныхъ сферахъ, о другихъ вопросахъ, неумолкающихъ въ человѣческомъ сердцѣ.

   Въ художественномъ отношеніи англичане представляютъ давно извѣстную и весьма характеристическую особенность: у нихъ нѣтъ живописи, то есть не процвѣтаютъ высшіе роды этого искусства, и нѣтъ музыки, то есть нѣтъ того всеобъемлющаго искусства, которое въ чистѣйшихъ формахъ объемлетъ все существенное содержаніе другихъ искусствъ.

   Умеръ Диккенсъ -- лучшій и любимѣйшій изъ англійскихъ современныхъ романистовъ. Поминая его, вспомните похвалу Хомякова, сказанную двадцать пять лѣтъ тому назадъ. Указывая на высокія достоинства внутренняго духа Англіи, которыми эта страна превосходитъ остальную Европу, Хомяковъ между прочимъ говоритъ: "у *внутренней*Англіи есть еще преданіе, поэзія, святость домашняго быта, теплота сердца, и Диккенсъ, меньшой братъ нашего Гоголя". (Соч. Хомякова, Т. I, стр. 10).

   14 іюля 1870.